

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Так пролежал он очень долго. Случалось, что он как будто и про- сыпался и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. Наконец он заметил, что уже светло по-дневному. Он лежал на диване навзничь, еще остолбенелый от недавнего забытья. До него резко доносились страшные, отчаянные вопли с улицы, которые, впрочем, он каждую ночь выслушивал под своим окном в третьем часу. Они-то и разбудили его теперь «А! вот уж и из распивочных пьяные выходят, — подумал он, — третий час, — и вдруг вскочил, точно его сорвал кто с дивана. — Как! Третий уже час!» Он сел на диване, — и тут все припомнил! Вдруг в один миг все припомнил!

В первое мгновение он думал, что с ума сойдет. Страшный холод обхватил его; но холод был и от лихорадки, которая уже давно началась с ним во сне. Теперь же вдруг ударил такой озноб, что чуть зубы не выпрыгнули, и все в нем так и заходило. Он отворил дверь и начал слушать: в доме все совершенно спало. С изумлением оглядывал он себя и все кругом в комнате и не понимал: как это он мог вчера, войдя, не запереть дверей на крючок и броситься на диван не только не раздевшись, но даже в шляпе: она скатилась и тут же лежала на полу, близ подушки. «Если бы кто зашел, что бы он подумал? Что я пьян, но...» Он бросился к окошку. Свету было довольно, и он поскорей стал себя оглядывать, всего, с ног до головы, все свое платье: нет ли следов? Но так нельзя было: дрожа от озноба, стал он снимать с себя все и опять осматривать кругом. Он перевертел все, до последней нитки и лоскутка, и, не доверяя себе, повторил осмотр раза три. Но не было ничего, кажется, никаких следов; только на том месте, где панталоны внизу осеклись и висели бахромой, на бахроме этой оставались густые следы запекшейся крови. Он схватил складной большой ножик и обрезал бахрому. Больше, кажется, ничего не было. Вдруг он вспомнил, что кошелек и вещи, которые он вытащил у старухи из сундука, все до сих пор у него по карманам лежат! Он и не думал до сих пор их вынуть и спрятать! Не вспомнил о них даже теперь, как платье осматривал! Что ж это? Мигом бросился он их вынимать и выбрасывать на стол. Выбрав все, даже выворотив карманы, чтоб удостовериться, не остается ли еще чего, он всю эту кучу перенес в угол. Там, в самом углу, внизу, в одном месте были разодраны отставшие от стены обои: тотчас же начал он все запихивать в эту дыру, под бумагу: «вошло! Все с глаз долой, и кошелек тоже!» — радостно думал он, привстав и тупо смотря в угол, в оттопырившуюся еще больше дыру. Вдруг он весь вздрогнул от ужаса. «Боже мой, — шептал он в отчаянии, — что со мною? Разве это спрятано? Разве так прячут?»

Правда, он и не рассчитывал на вещи; он думал, что будут одни только деньги, а потому и не приготовил заранее места, — «но теперь-то, теперь чему я рад? — думал он. — Разве так прячут? Подлинно разум меня оставляет!» В изнеможении сел он на диван, и тотчас же нестерпимый озноб снова затряс его. Машинально потащил он лежавшее подле, на стуле, бывшее его студенческое зимнее пальто, теплое, но уже почти в лохмотьях, накрылся им, и сон и бред опять разом охватили его. Он забылся.

Не более как минут через пять вскочил он снова и тотчас же, в испуге, опять кинулся к своему платью. «Как это мог я опять заснуть, тогда как ничего не сделано! Так и есть, так и есть: петлю под мышкой до сих пор не снял! Забыл, об таком деле забыл! Такая улика!» Он сдернул петлю и поскорей стал разрывать ее в куски, запихивая их под подушку в белье. «Куски рваной холстины ни в каком случае не возбудят подозрения; кажется, так, кажется, так!» — повторял он, стоя среди комнаты, и с напряженным до боли вниманием стал опять высматривать кругом, на полу и везде, не забыл ли еще чего-нибудь? Уверенность, что все, даже память, даже простое соображение оставляют его, начинала нестерпимо его мучить. «Что, неужели уж начинается, неужели это уж казнь наступает? Вон, вон, так и есть!» Действительно, обрезки бахромы, которую он срезал с

панталон, так и валялись на полу, среди комнаты, чтобы первый увидел! «Да что же это со мною!» — вскричал он опять как потерянный.

Тут пришла ему в голову странная мысль: что, может быть, и все его платье в крови, что, может быть, много пятен, но что он их только не видит, не замечает, потому что соображение его ослабело, раздроблено... ум помрачен... Вдруг он вспомнил, что и на кошельке была кровь. «Ба! Так, стало быть, и в кармане тоже должна быть кровь, потому что я еще мокрый кошелек тогда в карман сунул!» Мигом выворотил он карман, и — так и есть — на подкладке кармана есть следы, пятна! «Стало быть, не оставил же еще совсем разум, стало быть, есть же соображение и память, коли сам спохватился и догадался! — подумал он с торжеством, глубоко и радостно вздохнув всею грудью, — просто слабосилие лихорадочное, бред на минуту», — и он вырвал всю подкладку из левого кармана панталон. В эту минуту луч солнца осветил его левый сапог: на носке, который выглядывал из сапога, как будто показались знаки. Он сбросил сапог: «действительно знаки! Весь кончик носка пропитан кровью»; должно быть, он в ту лужу неосторожно тогда ступил... «Но что же теперь с этим делать? Куда девать этот носок, бахрому, карман?»

Он сгреб все это в руку и стоял среди комнаты. «В печку? Но в печке прежде всего начнут рыться. Сжечь? Да и чем сжечь? Спичек даже нет. Нет, лучше выйти куда-нибудь и все выбросить. Да! лучше выбросить! — повторял он, опять садясь на диван, — и сейчас, сию минуту, не медля!..» Но вместо того голова его опять склонилась на подушку; опять оледенил его нестерпимый озноб; опять он потащил на себя шинель. И долго, несколько часов, ему все еще мерещилось порывами, что «вот бы сейчас, не откладывая, пойти куда-нибудь и все выбросить, чтоб уж с глаз долой, поскорей, поскорей!» Он порывался с дивана несколько раз, хотел было встать, но уже не мог. Окончательно разбудил его сильный стук в двери.

— Да отвори, жив аль нет? И все-то он дрыхнет! — кричала Настасья, стуча кулаком в дверь, — целые дни-то деньские, как пес, дрыхнет! Пес и есть! Отвори, что ль. Одиннадцатый час.

— А може, и дома нет! — проговорил мужской голос.

«Ба! это голос дворника... Что ему надо?»

Он вскочил и сел на диване. Сердце стучало так, что даже больно стало.

— А крюком кто ж заперся? — возразила Настасья, — ишь запирать стал! Самого, что ль, унесут? Отвори, голова, проснись!

«Что им надо? Зачем дворник? Все известно. Сопротивляться или отворить?»

Пропадай...»

Он привстал, нагнулся вперед и снял крюк.

Вся его комната была такого размера, что можно было снять крюк, не вставая с постели.

Так и есть: стоят дворник и Настасья.

Настасья как-то странно его оглянула. Он с вызывающим и отчаянным видом взглянул на дворника. Тот молча протянул ему серую, сложенную вдвое бумажку, запечатанную бутылочным сургучом.

— Повестка, из конторы, — проговорил он, подавая бумагу.

— Из какой конторы?..

— В полицию, значит, зовут, в контору. Известно, какая контора.

— В полицию!.. Зачем?..

— А мне почем знать. Требуют, и иди. — Он внимательно посмотрел на него, осмотрелся кругом и повернулся уходить.

— Никак, совсем разболелся? — заметила Настасья, не спуская с него глаз.

Дворник тоже на минуту обернул голову. — Со вчерашнего дня в жару, — прибавила она.

Он не отвечал и держал в руках бумагу не распечатывая.

— Да уж не вставай, — продолжала Настасья, разжалобясь и видя, что он спускает с

дивана ноги. — Болен, так и не ходи: не сгорит. Что у те в руках-то?

Он взглянул: в правой руке у него отрезанные куски бахромы, носок и лоскутья вырванного кармана. Так и спал с ними. Потом уже, размышляя об этом, вспоминал он, что и полупросыпаясь в жару, крепко-накрепко стискивал все это в руке и так опять засыпал.

— Ишь лохмотьев каких набрал и спит с ними, ровно с кладом... — И Настасья закатилась своим болезненно-нервическим смехом. Мигом сунул он все под шинель и пристально впился в нее глазами. Хоть и очень мало мог он в ту минуту вполне толково сообразить, но чувствовал, что с человеком не так обращаться будут, когда придут его брать. «Но... полиция?»

— Чаю бы выпил? Хошь, что ли? Принесу; осталось...

— Нет... я пойду: я сейчас пойду, — бормотал он, становясь на ноги.

— Поди и с лестницы не сойдешь?

— Пойду...

— Как хошь.

Она ушла вслед за дворником. Тотчас же бросился он к свету осматривать носок и бахрому: «Пятна есть, но не совсем приметно; все загрязнилось, затерлось и уже выцвело. Кто не знает заранее —ничего не разглядит. Настасья, стало быть, ничего издали не могла приметить, слава богу!» Тогда с трепетом распечатал он повестку и стал читать; долго читал он и наконец-то понял. Это была обыкновенная повестка из квартала явиться на сегодняшний день, в половине десятого, в контору квартального надзирателя.

«Да когда ж это бывало? Никаких я дел сам по себе не имею с полицией! И почему как раз сегодня? — думал он в мучительном недоумении. — Господи, поскорей бы уж!» Он было бросился на колени молиться, но даже сам рассмеялся, — не над молитвой, а над собой. Он поспешно стал одеваться. «Пропаду так пропаду, все равно! Носок надеть! — вздумалось вдруг ему, — еще больше затрется в пыли, и следы пропадут». Но только что он надел, тотчас же и сдернул его с отвращением и ужасом. Сдернул, но, сообразив, что другого нет, взял и надел опять — и опять рассмеялся. «Все это условно, все относительно, все это одни только формы, — подумал он мельком, одним только краешком мысли, а сам дрожа всем телом, — ведь вот надел же! Ведь кончил же тем, что надел!» Смех, впрочем, тотчас же сменился отчаянием. «Нет, не по силам...» — подумалось ему. Ноги его дрожали. «От страха», — пробормотал он про себя. Голова кружилась и болела от жару. «Это хитрость! Это они хотят заманить меня хитростью и вдруг сбить на всем», — продолжал он про себя, выходя на лестницу. «Скверно то, что я почти в бреду... я могу соврать какую-нибудь глупость...»

На лестнице он вспомнил, что оставляет все вещи так, в обойной дыре, — «а тут, пожалуй, нарочно без него обыск», — вспомнил и остановился. Но такое отчаяние и такой, если можно сказать, цинизм гибели вдруг овладели им, что он махнул рукой и пошел дальше.

«Только бы поскорей!..»

На улице опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные, [чухонцы-разносчики](#) и полуразвалившиеся извозчики. Солнце ярко блеснуло ему в глаза, так что больно стало глядеть, и голова его совсем закружилась, — обыкновенное ощущение лихорадочного, выходящего вдруг на улицу в яркий солнечный день.

Дойдя до поворота во *вчерашнюю* улицу, он с мучительной тревогой заглянул в нее, на *тот* дом... и тотчас же отвел глаза.

«Если спросят, я, может быть, и скажу», — подумал он, подходя к конторе.

Контора была от него с четверть версты. Она только что переехала на новую квартиру, в новый дом, в четвертый этаж. На прежней квартире он был когда-то мельком, но очень давно. Войдя под ворота, он увидел направо лестницу, по которой сходил [мужик с книжкой в руках](#); «дворник, значит; значит, тут и есть контора», и он стал подниматься

наверх наугад. Спрашивать ни у кого ни об чем не хотел.

«Войду, стану на колена и все расскажу...» — подумал он, входя в четвертый этаж.

Лестница была узенькая, крутая и вся в помоях. Все кухни всех квартир во всех четырех этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день. Оттого была страшная духота. Вверх и вниз всходили и сходили дворники с книжками под мышкой, [хожалые](#) и разный люд обоего пола — посетители. Дверь в самую контору была тоже настежь отворена. Он вошел и остановился в прихожей. Тут всё стояли и ждали какие-то мужики. Здесь тоже духота была чрезвычайная и, кроме того, до тошноты било в нос свежую, еще не выстоявшуюся краской на тухлой олифе вновь покрашенных комнат. Переждав немного, он рассудил подвинуться еще вперед, в следующую комнату. Всё крошечные и низенькие были комнаты. Страшное нетерпение тянуло его все дальше и дальше. Никто не замечал его. Во второй комнате сидели и писали какие-то писцы, одетые разве немного его получше, на вид все странный какой-то народ. Он обратился к одному из них.

— Чего тебе?

Он показал повестку из конторы.

— Вы студент? — спросил тот, взглянув на повестку.

— Да, бывший студент.

Писец оглядел его, впрочем, без всякого любопытства. Это был какой-то особенно взъерошенный человек с неподвижною идеей во взгляде.

«От этого ничего не узнаешь, потому что ему все равно», — подумал Раскольников.

— Ступайте туда, к письмоводителю, — сказал писец и ткнул вперед пальцем, показывая на самую последнюю комнату.

Он вошел в эту комнату (четвертую по порядку), тесную и битком набитую публикой, — народом несколько почище одетым, чем в тех комнатах. Между посетителями были две дамы. Одна в трауре, бедно одетая, сидела за столом против письмоводителя и что-то писала под его диктовку. Другая же дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди величиной в чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала. Раскольников сунул письмоводителю свою повестку. Тот мельком взглянул на нее, сказал: «подождите», и продолжал заниматься с траурною дамой.

Он перевел дух свободнее. «Наверно, не то!» Мало-помалу он стал ободряться, он усовещивал себя всеми силами ободриться и опомниться.

«Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя выдать! Гм... жаль, что здесь воздуха нет, — прибавил он, — духота... Голова еще больше кружится... и ум тоже...»

Он чувствовал во всем себе страшный беспорядок. Он сам боялся не совладеть с собой. Он старался прицепиться к чему-нибудь и о чем бы ни думать, о совершенно постороннем, но это совсем не удавалось. Письмоводитель сильно, впрочем, интересовал его: ему все хотелось что-нибудь угадать по его лицу, раскусить. Это был очень молодой человек, лет двадцати двух, с смуглою и подвижною физиономией, казавшеюся старше своих лет, одетый по моде и фатом, с пробором на затылке, расчесанный и распомаженный, со множеством перстней и колец на белых, очищенных щетками пальцах и золотыми цепями на жилете. С одним бывшим тут иностранцем он даже сказал слова два по-французски и очень удовлетворительно.

— Луиза Ивановна, вы бы сели, — сказал он мельком разодетой багрово-красной даме, которая все стояла, как будто не смея сама сесть, хотя стул был рядом.

— Ich danke ¹, — сказала та и тихо, с шелковым шумом, опустилась на стул. Светло-голубое с белою кружевною отделкой платье ее, точно воздушный шар, распространилось вокруг стула и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама, очевидно, робела того, что занимает полкомнаты и что от нее так несет духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством.

Траурная дама наконец кончила и стала вставать. Вдруг, с некоторым шумом, весьма молодцевато и как-то особенно повертывая с каждым шагом плечами, вошел офицер, бросил фуражку с кокардой на стол и сел в кресла. Пышная дама так и подпрыгнула с места, его завидя, и с каким-то особенным восторгом принялась приседать; но офицер не обратил на нее ни малейшего внимания, а она уже не смела больше при нем садиться. Это был помощник квартального надзирателя, с горизонтально торчавшими в обе стороны рыжеватыми усами и с чрезвычайно мелкими чертами лица, ничего, впрочем, особенного, кроме некоторого нахальства, не выражавшими. Он искоса и отчасти с негодованием посмотрел на Раскольникова: слишком уж на нем был скверен костюм, и, несмотря на все унижение, все еще не по костюму была осанка; Раскольников по неосторожности слишком прямо и долго посмотрел на него, так что тот даже обиделся.

— Тебе чего? — крикнул он, вероятно удивляясь, что такой оборванец и не думает стусевываться от его молниеносного взгляда.

— Потребовали... по повестке... — отвечал кое-как Раскольников.

— Это по делу о взыскании с них денег, с *студента*, — заторопился письмоводитель, отрываясь от бумаги. — Вот-с! — и он перекинул Раскольникову тетрадь, указав в ней место, — прочтите!

«Денег? Каких денег? — думал Раскольников, — но... стало быть, уж наверно не *то!*» И он вздрогнул от радости. Ему стало вдруг ужасно, невыразимо легко. Все с плеч слетело.

— А в котором часу вам приходится написано, милостисдарь? — крикнул поручик, все более и более неизвестно чем оскорбляясь, — вам пишут в девять, а теперь уже двенадцатый час!

— Мне принесли всего четверть часа назад, — громко и через плечо отвечал Раскольников, тоже внезапно и неожиданно для себя рассердившийся и даже находя в этом некоторое удовольствие. — И того довольно, что я больной в лихорадке пришел.

— Не извольте кричать!

— Я и не кричу, а весьма ровно говорю, а это вы на меня кричите; а я студент и кричать на себя не позволю.

Помощник до того вспылал, что в первую минуту даже ничего не мог выговорить, и только какие-то брызги вылетали из уст его. Он вскочил с места.

— Извольте ма-а-а-лчать! Вы в присутствии. Не гр-р-рубиянить, судырь!

— Да и вы в присутствии, — вскрикнул Раскольников, — а кроме того, что кричите, папиросу курите, стало быть, всем нам манкируете. — Проговорив это, Раскольников почувствовал невыразимое наслаждение.

Письмоводитель с улыбкой смотрел на них. Горячий поручик был, видимо, озадачен.

— Это не ваше дело-с! — прокричал он наконец как-то неестественно громко, — а вот извольте-ка подать отзыв, который с вас требуют. Покажите ему, Александр Григорьевич. Жалобы на вас! Денег не платите! Ишь какой вылетел сокол ясный!

Но Раскольников уже не слушал и жадно схватился за бумагу, ища поскорей разгадки. Прочел раз, другой, и не понял.

— Это что же? — спросил он письмоводителя.

— Это деньги с вас по заемному письму требуют, взыскание. Вы должны или уплатить со всеми издержками, пенными и прочими, или дать письменно отзыв, когда можете уплатить, а вместе с тем и обязательство не выезжать до уплаты из столицы и не продавать и не скрывать своего имущества. А займодавец волен продать ваше имущество, а с вами поступить по законам.

— Да я... никому не должен!

— Это уж не наше дело. А к нам вот поступило ко взысканию просроченное и законно протестованное заемное письмо в сто пятнадцать рублей, выданное вами вдове, коллежской асессорше Зарницыной, назад тому девять месяцев, а от вдовы Зарницыной перешедшее уплатою к надворному советнику Чебарову, мы и приглашаем вас посему к

отзыву.

— Да ведь она ж моя хозяйка?

— Ну так что ж, что хозяйка?

Письмоводитель смотрел на него с снисходительной улыбкой сожаления, а вместе с тем и некоторого торжества, как на новичка, которого только что начинают обстреливать: «Что, дескать, каково ты теперь себя чувствуешь?» Но какое, какое было ему теперь дело до заемного письма, до взыскания! Стоило ли это теперь хоть какой-нибудь тревоги в свою очередь, хотя какого-нибудь даже внимания! Он стоял, читал, слушал, отвечал, сам даже спрашивал, но все это машинально. Торжество самосохранения, спасения от давившей опасности — вот что наполняло в эту минуту все его существо, без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов. Это была минута полной, непосредственной, чисто животной радости. Но в эту самую минуту в конторе произошло нечто вроде грома и молнии. Поручик, еще весь потрясенный непочтительностью, весь пылая и, очевидно, желая поддержать пострадавшую амбицию, набросился всеми [перунами](#) на несчастную «пышную даму», смотревшую на него, с тех самых пор, как он вошел, с преглупейшей улыбкой.

— А ты, такая-сякая и этакая, — крикнул он вдруг во все горло (траурная дама уже вышла), — у тебя там что прошедшую ночь произошло? а? Опять позор, дебош на всю улицу производишь. Опять драка и пьянство. [В смирительный мечтаешь!](#) Ведь я уж тебе говорил, ведь я уж предупреждал тебя десять раз, что в одиннадцатый не спущу! А ты опять, опять, такая-сякая ты этакая!

Даже бумага выпала из рук Раскольников, и он дико смотрел на пышную даму, которую так бесцеремонно отделявали; но скоро, однако же, сообразил, в чем дело, и тотчас же вся эта история начала ему очень даже нравиться. Он слушал с удовольствием, так даже, что хотелось хохотать, хохотать, хохотать... Все нервы его так и прыгали.

— Илья Петрович! — начал было письмоводитель заботливо, но остановился выждать время, потому что вскипевшего поручика нельзя было удержать иначе, как за руки, что он знал по собственному опыту.

Что же касается пышной дамы, то вначале она так и затрепетала от грома и молний; но странное дело: чем многочисленнее и крепче становились ругательства, тем вид ее становился любезнее, тем очаровательнее делалась ее улыбка, обращенная к грозному поручику. Она семенила на месте и беспрерывно приседала, с нетерпением выжидая, что наконец-то и ей позволят ввернуть свое слово, и дождалась.

— Никакой шум и драки у меня не буль, господин капитэн, — затараторила она вдруг, точно горох просыпали, с крепким немецким акцентом, хотя и бойко по-русски, — и никакой, никакой шкандаль, а они пришоль пьян, и это я все расскажит, господин капитэн, а я не виноват... у меня благородный дом, господин капитэн, и благородное обращение, господин капитэн, и я всегда, всегда сама не хотель никакой шкандаль. А они совсем пришоль пьян и потом опять три путилки спросил, а потом один поднял ноги и стал нóгом фортепьян играль, и это совсем нехорошо в благородный дом, и он [ганц](#) фортепьян ломаль, и совсем, совсем тут нет никакой манир, и я сказала. А он путилку взял и стал всех сзади путилкой толкаль. И тут как я стал скоро дворник позваль и Карль пришоль, он взял Карль и глаз прибил, и Генриет тоже глаз прибил, а мне пять раз щеку бил. И это так неделикатно в благородный дом, господин капитэн, и я кричал. А он на канав окно отворяль и стал в окно, как маленькая свинья, визжал; и это срам. И как можно в окно на улиц, как маленькая свинья, визжал? Фуй-фуй-фуй! И Карль сзади его за фрак от окна таскаль и тут, это правда, господин капитэн, ему [зейн рок](#) изорваль. И тогда он кричал, что ему пятнадцать целковых [ман мус](#) штраф платиль. И я сама, господин капитэн, пять целковых ему зейн рок платиль. И это неблагородный гость, господин капитэн, и всякой шкандаль делаль! Я, говорил, на вас большой сатир [гедрюкт будет](#), потому я во всех газет могу про вас все сочиниль.

— Из сочинителей, значит?

— Да, господин капитэн, и какой же это неблагородный гость, господин капитэн, когда в благородный дом...

— Ну-ну-ну! Довольно! Я уж тебе говорил, говорил, я ведь тебе говорил...

— Илья Петрович! — снова значительно проговорил письмоводитель. Поручик быстро взглянул на него; письмоводитель слегка кивнул головой.

— ...Так вот же тебе, почтеннейшая *Лавиза* Ивановна, мой последний сказ, и уж это в последний раз, — продолжал поручик. — Если у тебя еще хоть один только раз в твоём благородном доме произойдет скандал, так я тебя самое на *цугундер*, как в высоком слоге говорится. Слышала? Так литератор, сочинитель, пять целковых в «благородном доме» за фалду взял? Вон они, сочинители! — И он метнул презрительный взгляд на Раскольникову. — Третьего дня в трактире тоже история: пообедал, а платить не желает; «я, дескать, вас в сатире за то опишу». На пароходе тоже другой, на прошлой неделе, почтенное семейство статского советника, жену и дочь, подлейшими словами обозвал. Из кондитерской намереди в толчки одного выгнали. Вот они каковы, сочинители, литераторы, студенты, глашатаи... тьфу! А ты пошла! Я вот сам к тебе загляну... тогда берегись! Слышала?

Луиза Ивановна с уторопленною любезностью пустилась приседать на все стороны и, приседая, дотянулась до дверей; но в дверях наскочила задом на одного видного офицера с открытым свежим лицом и с превосходными густейшими белокуроыми бакенами. Это был сам Никодим Фомич, квартальный надзиратель. Луиза Ивановна поспешила присесть чуть не до полу и частыми мелкими шагами, подпрыгивая, полетела из конторы.

— Опять грохот, опять гром и молния, смерч, ураган! — любезно и дружески обратился Никодим Фомич к Илье Петровичу, — опять растревожили сердце, опять закипел! Еще с лестницы слышал.

— Да што! — с благородною небрежностью проговорил Илья Петрович (и даже не што, а как-то: «Да-а шта-а!»), переходя с какими-то бумагами к другому столу и картинно передергивая с каждым шагом плечами, куда шаг, туда и плечо, — вот-с, извольте видеть: господин сочинитель, то бишь студент, бывший то есть, денег не платит, векселей надавал, квартиру не очищает, непрерывные на них поступают жалобы, а изволили в претензию войти, что я папироску при них закурил! Сами п-п-подличают, а вот-с, извольте взглянуть на них: вот они в самом своем привлекательном теперь виде-с!

— Бедность не порок, дружище, ну да уж что! Известно, порох, не мог обиды перенести. Вы чем-нибудь, верно, против него обиделись и сами не удержались, — продолжал Никодим Фомич, любезно обращаясь к Раскольникову, — но это вы напрасно: на-и-бла-га-а-ар-р-роднейший, я вам скажу, человек, но порох, порох! Вспылел, вскипел, сгорел — и нет! И все прошло! И в результате одно только золото сердца! Его и в полку прозвали: «поручик-порох»...

— И какой еще п-п-полк был! — воскликнул Илья Петрович, весьма довольный, что его так приятно пощекотали, но [все еще будируя](#).

Раскольникову вдруг захотелось сказать им всем что-нибудь необыкновенно приятное.

— Да помилуйте, капитан, — начал он весьма развязно, обращаясь вдруг к Никодиму Фомичу, — вникните и в мое положение... Я готов даже просить у них извинения, если в чем с своей стороны манкировал. Я бедный и больной студент, удрученный (он так и сказал: «удрученный») бедностью. Я бывший студент, потому что теперь не могу содержать себя, но я получу деньги... У меня мать и сестра в —й губернии... Мне пришлют, и я... заплачу. Хозяйка моя добрая женщина, но она до того озлилась, что я уроки потерял и не плачу четвертый месяц, что не присылает мне даже обедать... И не понимаю совершенно, какой это вексель! Теперь она с меня требует по заемному этому письму, что ж я ей заплачу, посудите сами!..

— Но это ведь не наше дело... — опять было заметил письмоводитель...

— Позвольте, позвольте, я с вами совершенно согласен, но позвольте и мне разъяснить, — подхватил опять Раскольников, обращаясь не к письмоводителю, а все к

Никодиму Фомичу, но стараясь всеми силами обращаться тоже и к Илье Петровичу, хотя тот упорно делал вид, что роется в бумагах и презрительно не обращает на него внимания, — позвольте и мне с своей стороны разъяснить, что я живу у ней уж около трех лет, с самого приезда из провинции и прежде... прежде... впрочем, отчего ж мне и не признаться в свою очередь, с самого начала я дал обещание, что женюсь на ее дочери, обещание словесное, совершенно свободное... Это была девушка... впрочем, она мне даже нравилась... хотя я и не был влюблен... одним словом, молодость, то есть я хочу сказать, что хозяйка мне делала тогда много кредиту и я вел отчасти такую жизнь... я очень был легкомыслен...

— С вас вовсе не требуют таких интимностей, милостисдарь, да и времени нет, — грубо и с торжеством перебил было Илья Петрович, но Раскольников с жаром остановил его, хотя ему чрезвычайно тяжело стало вдруг говорить.

— Но позвольте, позвольте же мне, отчасти, все рассказать... как было дело и... в свою очередь... хотя это и лишнее, согласен с вами, рассказывать, — но год назад эта девица умерла от тифа, я же остался жильцом, как был, и хозяйка, как переехала на теперешнюю квартиру, сказала мне... и сказала дружески... что она совершенно во мне уверена и все... но что не захочу ли я дать ей это заемное письмо, в сто пятнадцать рублей, всего, что она считала за мной долгу. Позвольте-с: она именно сказала, что, как только я дам эту бумагу, она опять будет меня кредитовать сколько угодно и что никогда, никогда, в свою очередь, — это ее собственные слова были, — она не воспользуется этой бумагой, покамест я сам заплачу... И вот теперь, когда я и уроки потерял и мне есть нечего, она и подает ко взысканию... Что ж я теперь скажу?

— Все эти чувствительные подробности, милостисдарь, до нас не касаются, — нагло отрезал Илья Петрович, — вы должны дать отзыв и обязательство, а что вы там изволили быть влюблены и все эти трагические места, до этого нам совсем дела нет.

— Ну уж ты... жестоко... — пробормотал Никодим Фомич, усаживаясь к столу и тоже принимаясь подписывать. Ему как-то стыдно стало.

— Пишите же, — сказал письмоводитель Раскольникову.

— Что писать? — спросил тот как-то особенно грубо.

— А я вам продиктую.

Раскольникову показалось, что письмоводитель стал с ним небрежнее и презрительнее после его исповеди, — но странное дело, — ему вдруг стало самому решительно все равно до чьего бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту. Если б он захотел подумать немного, то, конечно, удивился бы тому, как мог он так говорить с ними минуту назад и даже навязываться с своими чувствами? И откуда взялись эти чувства? Напротив, теперь если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце. Мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения вдруг сознательно сказались душе его. Не низость его сердечных излияний перед Ильей Петровичем, не низость и поручикова торжества над ним перевернули вдруг так ему сердце. О, какое ему дело теперь до собственной подлости, до всех этих амбиций, поручиков, немок, взысканий, контор и проч., и проч.! Если б его приговорили даже сжечь в эту минуту, то и тогда он не шевельнулся бы, даже вряд ли прослушал бы приговор внимательно. С ним совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то чтоб он понимал, но он ясно ощущал, всю силою ощущения, что не только с чувствительными экспансивностями, как давеча, но даже с чем бы то ни было ему уже нельзя более обращаться к этим людям в квартальной конторе, и будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним и даже ни в каком случае жизни; он никогда еще до сей минуты не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее — это было более ощущение, чем сознание, чем понятие; непосредственное ощущение,

мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнью пережитых им ощущений.

Письмоводитель стал диктовать ему форму обыкновенного в таком случае отзыва, то есть заплатить не могу, обещаю тогда-то (когда-нибудь), из города не выеду, имущество ни продавать, ни дарить не буду и проч.

— Да вы писать не можете, у вас перо из рук валится, — заметил письмоводитель, с любопытством глядя в Раскольников. — Вы больны?

— Да... голова кругом... говорите дальше!

— Да все! подпишитесь.

Письмоводитель отобрал бумагу и занялся с другими.

Раскольников отдал перо, но, вместо того чтобы встать и уйти, положил оба локтя на стол и стиснул руками голову. Точно гвоздь ему вбивали в темя. Странная мысль пришла ему вдруг: встать сейчас, подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему все вчерашнее, все до последней подробности, затем пойти вместе с ним на квартиру и указать им вещи, в углу, в дыре. Позыв был до того силен, что он уже встал с места для исполнения. «Не обдумать ли хоть минуту? — пронеслось в его голове. — Нет, лучше и не думая, и с плеч долой!» Но вдруг он остановился как вкопанный: Никодим Фомич говорил с жаром Илье Петровичу, и до него долетели слова:

— Быть не может, обоих освободят. Во-первых, все противоречит; судите: зачем им дворника звать, если б это их дело? На себя доносить, что ли? Аль для хитрости? Нет, уж было бы слишком хитро! И, наконец, студента Пестрякова видели у самых ворот оба дворника и мещанка в самую ту минуту, как он входил: он шел с тремя приятелями и расстался с ними у самых ворот и о жительстве у дворников расспрашивал, еще при приятелях. Ну станет такой о жительстве расспрашивать, если с таким намерением шел? А Кох, так тот, прежде чем к старухе заходить, внизу у [серебряника](#) полчаса сидел и ровно без четверти восемь от него к старухе наверх пошел. Теперь сообразите...

— Но позвольте, как же у них такое противоречие вышло: сами уверяют, что стучались и что дверь была заперта, а через три минуты, когда с дворником пришли, выходит, что дверь отперта?

— В том и штука: убийца непременно там сидел и заперся на запор; и непременно бы его там накрыли, если бы не Кох сдурил, не отправился сам за дворником. А *он* именно в этот-то промежуток и успел спуститься по лестнице и прошмыгнуть мимо их как-нибудь. Кох обеими руками крестится: «Если б я там, говорит, остался, он бы выскочил и меня убил топором». Русский молебен хочет служить, хе-хе!..

— А убийцу никто и не видал?

— Да где ж тут увидеть? Дом — Ноев ковчег, — заметил письмоводитель, прислушивавшийся с своего места.

— Дело ясное, дело ясное! — горячо повторил Никодим Фомич.

— Нет, дело очень неясное, — скрепил Илья Петрович.

Раскольников поднял свою шляпу и пошел к дверям, но до дверей он не дошел...

Когда он очнулся, то увидел, что сидит на стуле, что его поддерживает справа какой-то человек, что слева стоит другой человек с желтым стаканом, наполненным желтой водой, и что Никодим Фомич стоит перед ним и пристально глядит на него; он встал со стула.

— Что это, вы больны? — довольно резко спросил Никодим Фомич.

— Они и как подписывались, так едва пером водили, — заметил письмоводитель, усаживаясь на свое место и принимаясь опять за бумаги.

— А давно вы больны? — крикнул Илья Петрович с своего места и тоже перебирая бумаги. Он, конечно, тоже рассматривал больного, когда тот был в обмороке, но тотчас же отошел, когда тот очнулся.

— Со вчерашнего... — пробормотал в ответ Раскольников.

— А вчера со двора выходили?

— Выходил.

— Больной?

- Больной.
- В котором часу?
- В восьмом часу вечера.
- А куда, позвольте спросить?
- По улице.
- Коротко и ясно.

Раскольников отвечал резко, отрывисто, весь бледный как платок и не опуская черных воспаленных глаз своих перед взглядом Ильи Петровича.

— Он едва на ногах стоит, а ты... — заметил было Никодим Фомич.

— Ни-че-го! — как-то особенно проговорил Илья Петрович. Никодим Фомич хотел было еще что-то присовокупить, но, взглянув на письмоводителя, который тоже очень пристально смотрел на него, замолчал. Все вдруг замолчали. Странно было.

— Ну-с, хорошо-с, — заключил Илья Петрович, — мы вас не задерживаем.

Раскольников вышел. Он еще мог расслышать, как по выходе его начался вдруг оживленный разговор, в котором слышнее всех отдавался вопросительный голос Никодима Фомича... На улице он совсем очнулся.

«Обыск, обыск, сейчас обыск! — повторял он про себя, торопясь дойти, — разбойники! подозревают!» Давешний страх опять охватил его всего, с ног до головы.

II

«А что, если уж и был обыск? Что, если их как раз у себя и застану?»

Но вот его комната. Ничего и никого; никто не заглядывал. Даже Настасья не притрогивалась. Но, господи! Как мог он оставить давеча все эти вещи в этой дыре?

Он бросился в угол, запустил руку под обои и стал вытаскивать вещи и нагружать ими карманы. Всего оказалось восемь штук: две маленькие коробки, с серьгами или с чем-то в этом роде, — он хорошенько не посмотрел; потом четыре небольшие сафьянные футляра. Одна цепочка была просто завернута в газетную бумагу. Еще что-то в газетной бумаге, кажется орден...

Он поклат все в разные карманы, в пальто и в оставшийся правый карман панталон, стараясь, чтобы было неприметнее. Кошелек тоже взял заодно с вещами. Затем вышел из комнаты, на этот раз даже оставив ее совсем настезь.

Он шел скоро и твердо, и хоть чувствовал, что весь изломан, но сознание было при нем. Боялся он погони, боялся, что через полчаса, через четверть часа уже выйдет, пожалуй, инструкция следить за ним; стало быть, во что бы ни стало надо было до времени схоронить концы. Надо было управиться, пока еще оставалось хоть сколько-нибудь сил и хоть какое-нибудь рассуждение... Куда же идти?

Это было уже давно решено: «Бросить все в канаву, и концы в воду, и дело с концом». Так порешил он еще ночью, в бреду, в те мгновения, когда, он помнил это, несколько раз порывался встать и идти: «Поскорей, поскорей, и все выбросить». Но выбросить оказалось очень трудно.

Он бродил по набережной Екатерининского канала уже с полчаса, а может, и более, и несколько раз посматривал на сходы в канаву, где их встречал. Но и подумать нельзя было исполнить намерение: или плоты стояли у самых сходов, и на них прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат, да и отовсюду с набережных, со всех сторон, можно видеть, заметить: подозрительно, что человек нарочно сошел, остановился и что-то в воду бросает. А ну как футляры не утонут, а поплывут? Да и конечно так. Всякий увидит. И без того уже все так и смотрят, встречаясь, оглядывают, как будто им и дело только до него. «Отчего бы так, или мне, может быть, кажется», — думал он.

Наконец, пришло ему в голову, что не лучше ли будет пойти куда-нибудь на Неву? Там и людей меньше, и незаметнее, и, во всяком случае, удобнее, а главное — от здешних мест дальше. И удивился он вдруг: как это он целые полчаса бродил в тоске и тревоге, и в

опасных местах, а этого не мог раньше выдумать! И потому только целые полчаса на безрассудное дело убил, что так уже раз во сне, в бреду решено было! Он становился чрезвычайно рассеян и забывчив и знал это. Решительно надо было спешить!

Он пошел к Неве по В—му проспекту; но дорогою ему пришла вдруг еще мысль: «Зачем на Неву? Зачем в воду? Не лучше ли уйти куда-нибудь очень далеко, опять хоть на Острова, и там где-нибудь, в одиноком месте, в лесу, под кустом, — зарыть все это и дерево, пожалуй, заметить?» И хотя он чувствовал, что не в состоянии всего ясно и здраво обсудить в эту минуту, но мысль ему показалась безошибочною.

Но и на Острова ему не суждено было попасть, а случилось другое: выходя с В—го проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глухая небеленая стена соседнего четырехэтажного дома. Слева, параллельно глухой стене и тоже сейчас от ворот, шел деревянный забор, шагов на двадцать в глубь двора, и потом уже делал перелом влево. Это было глухое отгороженное место, где лежали какие-то материалы. Далее, в углублении двора, выглядывал из-за забора угол низкого, закопченного каменного сарая, очевидно часть какой-нибудь мастерской. Тут, верно, было какое-то заведение, каретное или слесарное, или что-нибудь в этом роде; везде, почти от самых ворот, чернелось много угольной пыли. «Вот бы куда подбросить и уйти!» — вздумалось ему вдруг. Не замечая никого во дворе, он прошагнул в ворота и как раз увидел, сейчас же близ ворот, прилаженный у забора желоб (как и часто устраивается в таких домах, где много фабричных, артельных, извозчиков и проч.), а над желобом, тут же на заборе, надписана была мелом всегдашняя в таких случаях острота: «Сдесь становитца воз прещено». Стало быть, уж и тем хорошо, что никакого подозрения, что зашел и остановился. «Тут все так разом и сбросить где-нибудь в кучку и уйти!»

Оглядевшись еще раз, он уже засунул руку в карман, как вдруг у самой наружной стены, между воротами и желобом, где все расстояние было шириною в аршин, заметил он большой неотесанный камень примерно, может быть, пуда в полтора весу, прилежавший прямо к каменной уличной стене. За этою стеной была улица, тротуар, слышно было, как шныряли прохожие, которых здесь всегда немало: но за воротами его никто не мог увидеть, разве зашел бы кто с улицы, что, впрочем, очень могло случиться, а потому надо было спешить.

Он нагнулся к камню, схватился за верхушку его крепко, обеими руками, собрал все свои силы и перевернул камень. Под камнем образовалось небольшое углубление: тотчас же стал он бросать в него все из кармана. Кошелек пришелся на самый верх, и все-таки в углублении оставалось еще место. Затем он снова схватился за камень, одним оборотом перевернул его на прежнюю сторону, и он как раз пришелся в свое прежнее место, разве немного чуть-чуть казался повыше. Но он подгрел землю и придавил по краям ногою. Ничего не было заметно.

Тогда он вышел и направился к площади. Опять сильная, едва выносимая радость, как давеча в конторе, овладела им на мгновение. «Схоронены концы! И кому, кому в голову может прийти искать под этим камнем? Он тут, может быть, с построения дома лежит и еще столько же пролежит. А хоть бы и нашли: кто на меня подумает? Все кончено! Нет улик!» — И он засмеялся. Да, он помнил потом, что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом, и все смеялся, все время как проходил через площадь. Но когда он ступил на К—й бульвар, где третьего дня повстречался с тою девочкой, смех его вдруг прошел. Другие мысли полезли ему в голову. Показалось ему вдруг тоже, что ужасно ему теперь отвратительно проходить мимо той скамейки, на которой он тогда, по уходе девочки, сидел и раздумывал, и ужасно тоже будет тяжело встретить опять того усача, которому он тогда дал двугривенный: «Черт его возьми!»

Он шел, смотря кругом рассеян и злобно. Все мысли его кружились теперь около одного какого-то главного пункта, — и он сам чувствовал, что это действительно такой главный пункт и есть и что теперь, именно теперь, он остался один на один с этим

главным пунктом, — и что это даже в первый раз после этих двух месяцев.

«А черт возьми это все! — подумал он вдруг в припадке неистощимой злобы. — Ну началось, так и началось, черт с ней и с новой жизнью! Как это, господи, глупо!.. А сколько я налгал и наподличал сегодня! Как мерзко лебезил и заигрывал давеча с сквернейшим Ильей Петровичем! А впрочем, вздор и это! Наплевать мне на них на всех, да и на то, что я лебезил и заигрывал! Совсем не то! Совсем не то!..»

Вдруг он остановился; новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопрос разом сбил его с толку и горько его изумил:

«Если действительно все это дело сделано было сознательно, а не по-дурацки, если у тебя действительно была определенная и твердая цель, то каким же образом ты до сих пор даже и не заглянул в кошелек и не знаешь, что тебе досталось, из-за чего все муки принял и на такое подлое, гадкое, низкое дело сознательно шел? Да ведь ты в воду его хотел сейчас бросить, кошелек-то, вместе со всеми вещами, которых ты тоже еще не видал... Это как же?»

Да, это так; это все так. Он, впрочем, это и прежде знал, и совсем это не новый вопрос для него; и когда ночью решено было в воду кинуть, то решено было безо всякого колебания и возражения, а так, как будто так тому и следует быть, как будто иначе и быть невозможно... Да, он это все знал и все помнил; да чуть ли это уже вчера не было так решено, в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляры из него таскал... А ведь так!..

«Это оттого, что я очень болен, — угрюмо решил он наконец, — я сам измучил и истерзал себя, и сам не знаю, что делаю... И вчера, и третьего дня, и все это время терзал себя... Выздоровлю и... не буду терзать себя... А ну как совсем и не выздоровлю? Господи! Как это мне все надоело!..» Он шел не останавливаясь. Ему ужасно хотелось как-нибудь рассеяться, но он не знал, что сделать и что предпринять. Одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им все более и более почти с каждой минутой: это было какое-то бесконечное, почти физическое, отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, — гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил...

Он остановился вдруг, когда вышел на набережную Малой Невы, на Васильевском острове, подле моста. «Вот тут он живет, в этом доме, — подумал он. — Что это, да, никак, я к Разумихину сам пришел! Опять та же история, как тогда... А очень, однако же, любопытно: сам я пришел или просто шел, да сюда зашел? Все равно; сказал я... третьего дня... что к нему после того на другой день пойду, ну что ж, и пойду! Будто уж я и не могу теперь зайти...»

Он поднялся к Разумихину в пятый этаж.

Тот был дома, в своей каморке, и в эту минуту занимался, писал, и сам ему отпер. Месяца четыре, как они не видались. Разумихин сидел у себя в истрепанном до лохмотьев халате, в туфлях на босу ногу, всклокоченный, небритый и неумытый. На лице его выразилось удивление.

— Что ты? — закричал он, осматривая с ног до головы вошедшего товарища; затем помолчал и присвистнул.

— Неужели уж так плохо? Да ты, брат, нашего брата перещеголял, — прибавил он, глядя на лохмотья Раскольниковова. — Да садись же, устал небось! — И когда тот повалился на клеенчатый турецкий диван, который был еще хуже его собственного, Разумихин разглядел вдруг, что гость его болен.

— Да ты серьезно болен, знаешь ты это? — Он стал щупать его пульс; Раскольников вырвал руку.

— Не надо, — сказал он, — я пришел... вот что: у меня уроков никаких... я хотел было... впрочем, мне совсем не надо уроков...

— А знаешь что? Ведь ты бредишь! — заметил наблюдавший его пристально

Разумихин.

— Нет, не брежу... — Раскольников встал с дивана. Подымаясь к Разумихину, он не подумал о том, что с ним, стало быть, лицом к лицу сойтись должен. Теперь же, в одно мгновение, догадался он, уже на опыте, что всего менее расположен, в эту минуту, сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете. Вся желчь поднялась в нем. Он чуть не захлебнулся от злобы на себя самого, только что переступил порог

Разумихина.

— Прощай! — сказал он вдруг и пошел к двери.

— Да ты постой, постой, чудак!

— Не надо!.. — повторил тот, опять вырывая руку.

— Так на кой черт ты пришел после этого! Очумел ты, что ли? Ведь это... почти обидно. Я так не пушу.

— Ну, слушай: я к тебе пришел, потому что, кроме тебя, никого не знаю, кто бы помог... начать... потому что ты всех их добрее, то есть умнее, и обсудить можешь... А теперь я вижу, что ничего мне не надо, слышишь, совсем ничего... ничьих услуг и участия... Я сам... один... Ну и довольно! Оставьте меня в покое!

— Да постой на минутку, трубочист! Совсем сумасшедший! По мне ведь как хочешь. Видишь ли: уроков и у меня нет, да и наплевать, а есть на [Толкучем](#) книгопродавец Херувимов, это уж сам в своем роде урок. Я его теперь на пять купеческих уроков не променяю. Он этикие изданыца делает и естественнонаучные книжонки выпускает, — да как расходятся-то! Одни заглавия чего стоят! Вот ты всегда утверждал, что я глуп, ей-богу, брат, есть глупее меня! Теперь в направление тоже полез; сам ни бельмеса не чувствует, ну а я, разумеется, поощряю. Вот тут два с лишком листа немецкого текста, — по-моему, глупейшего шарлатанства: одним словом, рассматривается, человек ли женщина или не человек? Ну и, разумеется, торжественно доказывается, что человек. Херувимов это по части женского вопроса готовит; я перевожу; растянет он эти два с половиной листа листов на шесть, присочиним пышнейшее заглавие в полстраницы и пустим по полтиннику. Сойдет! За перевод мне по шести целковых с листа, значит, за все рублей пятнадцать достанется, и шесть рублей взял я вперед. Кончим это, начнем об китах переводить, потом из второй части [«Confessions»](#) какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили, переводить будем; Херувимову кто-то сказал, что будто бы Руссо в своем роде Радищев. Я, разумеется, не противоречу, черт с ним! Ну хочешь второй лист «Человек ли женщина?» переводить? Коли хочешь, так бери сейчас текст, перьев бери, бумаги — все это казенное — и бери три рубля: так как я за весь перевод вперед взял, за первый и за второй лист, то, стало быть, три рубля прямо на твой пай и придутся. А кончишь лист — еще три целковых получишь. Да вот что еще, пожалуйста, за услугу какую-нибудь не считай с моей стороны. Напротив, только что ты вошел, я уж и рассчитал, чем ты мне будешь полезен. Во-первых, я в орфографии плох, а во-вторых, в немецком иногда просто швах, так что все больше от себя сочиняю и только тем и утешаюсь, что от этого еще лучше выходит. Ну, а кто его знает, может быть, оно и не лучше, а хуже выходит... Берешь или нет?

Раскольников молча взял немецкие листки статьи, взял три рубля и, не сказав ни слова, вышел. Разумихин с удивлением поглядел ему вслед. Но, дойдя уже до Первой линии, Раскольников вдруг воротился, поднялся опять к Разумихину и, положив на стол и немецкие листы и три рубля, опять-таки ни слова не говоря, пошел вон.

— Да у тебя белая горячка, что ль! — заревел взбесившийся наконец Разумихин. — Чего ты комедии-то разыгрываешь! Даже меня сбил с толку... Зачем же ты приходил после этого, черт?

— Не надо... переводов... — пробормотал Раскольников, уже спускаясь с лестницы.

— Так какого же тебе черта надо? — закричал сверху Разумихин. Тот молча продолжал спускаться.

— Эй, ты! Где ты живешь?

Ответа не последовало.

— Ну так чер-р-рт с тобой!..

Но Раскольников уже выходил на улицу. На Николаевском мосту ему пришлось еще раз вполне очнуться вследствие одного весьма неприятного для него случая. Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски за то, что он чуть-чуть не попал под лошадей, несмотря на то, что кучер раза три или четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он отскочил к перилам (неизвестно почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех.

— И за дело!

— [Выжига](#) какая-нибудь.

— Известно, пьяным представится да нарочно и лезет под колеса; а ты за него отвечаешь.

— Тем промышляют, почтенный, тем промышляют...

Но в ту минуту, как он стоял у перил и все еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел: пожилая купчиха, в [головке](#) и козловых башмаках, и с нею девушка, в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно дочь. «Прими, батюшка, ради Христа». Он взял, и они прошли мимо. Денег двугривенный. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице, а подачей целого двугривенного он, наверно, обязан был удару кнута, который их разжалобил.

Он зажал двугривенный в руку, прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение. Боль от кнута утихла, и Раскольников забыл про удар; одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его теперь исключительно. Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально; это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, — чаще всего возвращаясь домой, — случалось ему, может быть, раз сто, останавливаться именно на этом же самом месте, пристально вглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразрешимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. Теперь вдруг резко вспомнил он про эти прежние свои вопросы и недоумения, и показалось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про них. Уж одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился, как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался... еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало, и в то же время сдавило грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь все это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и все, все... Казалось, он улетал куда-то, вверх, и все исчезало в глазах его... Сделав одно невольное движение рукой, он вдруг ощутил в кулаке своим зажатый двугривенный. Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду; затем повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту.

Он пришел к себе уже к вечеру, стало быть, проходил всего часов шесть. Где и как шел обратно, ничего он этого не помнил. Раздевшись и весь дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся...

Он очнулся в полные сумерки от ужасного крику. Боже, что это за крик! Таких

неестественных звуков, такого воя, вопля, скрежета, слез, побой и ругательств он никогда еще не слышивал и не видывал. Он и вообразить не мог себе такого зверства, такого исступления. В ужасе приподнялся он и сел на своей постели, каждое мгновение замирая и мучаясь. Но драки, вопли и ругательства становились все сильнее и сильнее. И вот, к величайшему изумлению, он вдруг расслышал голос своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спеша, торопясь, выпуская слова, так что и разобрать нельзя было, о чем-то умоляя, — конечно, о том, чтоб ее перестали бить, потому что ее беспощадно били на лестнице. Голос бывшего стал до того ужасен от злобы и бешенства, что уже только хрипел, но все-таки и бывший тоже что-то такое говорил, и тоже скоро, неразборчиво, торопясь и захлебываясь. Вдруг Раскольников затрепетал, как лист: он узнал этот голос; это был голос Ильи Петровича. Илья Петрович здесь и бьет хозяйку! Он бьет ее ногами, колотит ее головою о ступени, — это ясно, это слышно по звукам, по воплям, по ударам! Что это, свет перевернулся, что ли? Слышно было, как во всех этажах, по всей лестнице собиралась толпа, слышались голоса, восклицания, всходили, стучали, хлопали дверями, сбегались. «Но за что же, за что же... и как это можно!» — повторял он, серьезно думая, что он совсем помешался. Но нет, он слишком ясно слышит!.. Но, стало быть, и к нему сейчас придут, если так, «потому что... верно, все это из того же... из-за вчерашнего... Господи!». Он хотел было запереться на крючок, но рука не поднялась... да и бесполезно! Страх как лед обложил его душу, замучил его, околочил его... Но вот наконец весь этот гам, продолжавшийся верных десять минут, стал постепенно утихать. Хозяйка стонала и охала. Илья Петрович все еще грозил и ругался... Но вот наконец, кажется, и он затих; вот уж и не слышно его; «неужели ушел! Господи!». Да, вот уходит и хозяйка, все еще со стоном и плачем... вот и дверь у ней захлопнулась... Вот толпа расходится с лестниц по квартирам, — ахают, спорят, перекликаются, то возвышая речь до крику, то понижая до шепоту. Должно быть, их много было; чуть ли не весь дом сбежался. «Но Боже, разве все это возможно! И зачем, зачем он приходил сюда!»

Раскольников в бессилии упал на диван, но уже не мог сомкнуть глаз; он пролежал с полчаса в таком страдании, в таком нестерпимом ощущении безграничного ужаса, какого никогда еще не испытывал. Вдруг яркий свет озарил его комнату: вошла Настасья со свечой и с тарелкой супа. Посмотрев на него внимательно и разглядев, что он не спит, она поставила свечку на стол и начала раскладывать принесенное: хлеб, соль, тарелку, ложку.

— Небось со вчерашнего не ел. Целый-то день прошлялся, а самого [лихоманка](#) бьет.

— Настасья... за что били хозяйку?

Она пристально на него посмотрела.

— Кто бил хозяйку?

— Сейчас... полчаса назад, Илья Петрович, надзирателя помощник, на лестнице... За что он так ее избил? и... зачем приходил?..

Настасья молча и нахмурившись его рассматривала и долго так смотрела. Ему очень неприятно стало от этого рассматривания, даже страшно.

— Настасья, что ж ты молчишь? — робко проговорил он наконец слабым голосом.

— Это кровь, — отвечала она наконец тихо и как будто про себя говоря.

— Кровь!.. Какая кровь?.. — бормотал он, бледнея и отодвигаясь к стене. Настасья продолжала молча смотреть на него.

— Никто хозяйку не бил, — проговорила она опять строгим и решительным голосом. Он смотрел на нее, едва дыша.

— Я сам слышал... я не спал... я сидел, — еще робче проговорил он. — Я долго слушал... Приходил надзирателя помощник... На лестницу все сбежались, из всех квартир...

— Никто не приходил. А это кровь в тебе кричит. Это когда ей выхода нет и уж печенками запекаться начнет, тут и начнет мерещиться... Есть-то станешь, что ли?

Он не отвечал. Настасья все стояла над ним, пристально глядела на него и не уходила.

— Пить дай... Настасьюшка.

Она сошла вниз и минуты через две воротилась с водой в белой глиняной кружке; но он уже не помнил, что было дальше. Помнил только, как отхлебнул один глоток холодной воды и пролил из кружки на грудь. Затем наступило беспамятство.

III

Он, однако ж, не то чтоб уж был совсем в беспамятстве во все время болезни: это было лихорадочное состояние, с бредом и полусознанием. Многое он потом припомнил. То казалось ему, что около него собирается много народу и хотят его взять и куда-то вынести, очень об нем спорят и ссорятся. То вдруг он один в комнате, все ушли и боятся его, и только изредка чуть-чуть отворяют дверь посмотреть на него, грозят ему, сговариваются об чем-то промеж себя, смеются и дразнят его. Настасью он часто помнил подле себя; различал и еще одного человека, очень будто бы ему знакомого, но кого именно — никак не мог догадаться и тосковал об этом, даже и плакал. Иной раз казалось ему, что он уже с месяц лежит; в другой раз — что все тот же день идет. Но об *том*, — об *том* он совершенно забыл; зато ежеминутно помнил, что об чем-то забыл, чего нельзя забывать, — терзался, мучился, припоминая, стонал, впадал в бешенство или в ужасный, невыносимый страх. Тогда он порывался с места, хотел бежать, но всегда кто-нибудь его останавливал силой, и он опять впадал в бессилие и беспамятство. Наконец он совсем пришел в себя.

Произошло это утром, в десять часов. В этот час утра, в ясные дни, солнце всегда длинною полосой проходило по его правой стене и освещало угол подле двери. У постели его стояла Настасья и еще один человек, очень любопытно его разглядывавший и совершенно ему незнакомый. Это был молодой парень в кафтане, с бородкой, и с виду походил на артельщика. Из полуотворенной двери выглядывала хозяйка. Раскольников приподнялся.

— Это кто, Настасья? — спросил он, указывая на парня.

— Ишь ведь, очнулся! — сказала она.

— Очнулись, — отозвался артельщик. Догадавшись, что он очнулся, хозяйка, подглядывавшая из дверей, тотчас же притворила их и спряталась. Она и всегда была застенчива и с тягостию переносила разговоры и объяснения, ей было лет сорок, и была она толста и жирна, черноброва и черноглаза, добра от толстоты и от лени; и собою даже очень смазлива. Стыдлива же сверх необходимости.

— Вы... кто? — продолжал он допрашивать, обращаясь к самому артельщику. Но в эту минуту опять отворилась дверь настежь и, немного наклонившись, потому что был высок, вошел Разумихин.

— Экая морская каюта, — закричал он, входя, — всегда лбом стучаюсь; тоже ведь квартирой называется! А ты, брат, очнулся? Сейчас от Пашеньки слышал.

— Сейчас очнулся, — сказала Настасья.

— Сейчас очнулись, — поддакнул опять артельщик с улыбкой.

— А вы кто сами-то изволите быть-с? — спросил, вдруг обращаясь к нему, Разумихин. — Я вот, изволите видеть, Вразумихин; не Разумихин, как меня всё величают, а Вразумихин, студент, дворянский сын, а он мой приятель. Ну-с, а вы кто таковы?

— А я в нашей конторе артельщиком, от купца Шелопаева-с, и сюда по делу-с.

— Извольте садиться на этот стул, — сам Разумихин сел на другой, с другой стороны столика. — Это ты, брат, хорошо сделал, что очнулся, — продолжал он, обращаясь к Раскольникову. — Четвертый день едва ешь и пьешь. Право, чаю с ложечки давали. Я к тебе два раза приводил Зосимова. Помнишь Зосимова? Осмотрел тебя внимательно и сразу сказал, что все пустяки, — в голову, что ли, как-то ударило. Нервный вздор какой-то, паек был дурной, говорит, пива и хрену мало отпускали, оттого и болезнь, но что ничего, пройдет и перемелется. Молодец Зосимов. Знатно начал полечивать. Ну-с, так я вас не задерживаю, — обратился он опять к артельщику, — угодно вам разъяснить вашу

надобность? Заметь себе, Родя, из ихней конторы уж второй раз приходят; только прежде не этот приходил, а другой, и мы с тем объяснялись. Это кто прежде вас-то сюда приходил?

— А надо полагать, это третьегодни-с, точно-с. Это Алексей Семенович были; тоже при конторе у нас состоит-с.

— А ведь он будет потолковее вас, как вы думаете?

— Да-с; они точно что посолиднее-с.

— Похвально; ну-с, продолжайте.

— А вот через Афанасия Ивановича Вахрушина, об котором, почитаю, неоднократно изволили слышать-с, по просьбе вашей мамыши, через нашу контору вам перевод-с, — начал артельщик, прямо обращаясь к Раскольникову. — В случае если уже вы состоите в понятии-с — тридцать пять рублей вам вручить-с, так как Семен Семенович от Афанасия Ивановича, по просьбе вашей мамыши, по прежнему манеру о том уведомление получили. Извольте знать-с?

— Да... помню... Вахрушин... — проговорил Раскольников задумчиво.

— Слышите: купца Вахрушина знает! — вскричал Разумихин. — Как же не в понятии? А впрочем, я теперь замечаю, что и вы тоже толковый человек. Ну-с! Умные речи приятно и слушать.

— Они самые и есть-с, Вахрушин, Афанасий Иванович, и по просьбе вашей мамыши, которая через них таким же манером вам уже пересылала однажды, они и на сей раз не отказали-с и Семена Семеновича на сих днях уведомили из своих мест, чтобы вам тридцать пять рублей передать-с, во ожидании лучшего-с.

— Вот в «ожидании-то лучшего» у вас лучше всего и вышло; недурно тоже и про «вашу мамашу». Ну, так как же по-вашему, в полной он или не в полной памяти, а?

— По мне что же-с. Вот только бы насчет расписочки следовало бы-с.

— Нацарапает! Что у вас, книга, что ль?

— Книга-с, вот-с.

— Давайте сюда. Ну, Родя, подымайся. Я тебя попридержу; подмахни-ка ему Раскольникова, бери перо, потому, брат, деньги нам теперь пуще патоки.

— Не надо, — сказал Раскольников, отстраняя перо.

— Чего это не надо?

— Не стану подписывать.

— Фу, черт, да как же без расписки-то?

— Не надо... денег...

— Это денег-то не надо! Ну, это, брат, врешь, я свидетель! Не беспокойтесь, пожалуйста, это он только так... опять вояжирует. С ним, впрочем, это и наяву бывает... Вы человек рассудительный, и мы будем его руководить, то есть попросту его руку водить, он и подпишет. Принимайтесь-ка...

— А впрочем, я и в другой раз зайду-с.

— Нет, нет! зачем же вам беспокоиться. Вы человек рассудительный... Ну, Родя, не задерживай гостя... видишь, ждет. — И он серьезно приготовился водить рукой Раскольникова.

— Оставь, я сам... — проговорил тот, взял перо и расписался в книге. Артельщик выложил деньги и удалился.

— Bravo! А теперь, брат, хочешь есть?

— Хочу, — отвечал Раскольников.

— У вас суп?

— Вчерашний, — отвечала Настасья, все это время стоявшая тут же.

— С картофелем и с рисовой крупой?

— С картофелем и крупой.

— Наизусть знаю. Тащи суп, да и чаю давай.

— Принесу.

Раскольников смотрел на все с глубоким удивлением и с тупым бессмысленным страхом. Он решился молчать и ждать: что будет дальше? «Кажется, я не в бреду, — думал он, — кажется, это в самом деле...»

Через две минуты Настасья воротилась с супом и объявила, что сейчас и чай будет. К супу явились две ложки, две тарелки и весь прибор: солонка, перечница, горчица для говядины и прочее, чего прежде, в таком порядке, уже давно не бывало. Скатерть была чистая.

— Не худо, Настасьюшка, чтобы Прасковья Павловна бутылочки две пивца откомандировала. Мы выпьем-с.

— Ну, уж ты, востроногий! — пробормотала Настасья и пошла исполнять повеление.

Дико и с напряжением продолжал приглядываться Раскольников. Тем временем Разумихин пересел к нему на диван, неуклюже, как медведь, обхватил левою рукой его голову, несмотря на то, что он и сам бы мог приподняться, а правую поднес к его рту ложку супу, несколько раз предварительно подув на нее, чтоб он не обжегся. Но суп был только что теплый. Раскольников с жадностью проглотил одну ложку, потом другую, третью. Но, поднеся несколько ложек, Разумихин вдруг приостановился и объявил, что насчет дальнейшего надо посоветоваться с Зосимовым.

Вошла Настасья, неся две бутылки пива.

— А чаю хочешь?

— Хочу.

— Катай скорей и чаю, Настасья, потому насчет чаю, кажется, можно и без факультета. Но вот и пивцо! — Он пересел на свой стул, придвинул к себе суп, говядину и стал есть с таким аппетитом, как будто три дня не ел.

— Я, брат Родя, у вас тут теперь каждый день так обедаю, — пробормотал он, насколько позволял набитый полный рот говядиной, — и это все Пашенька, твоя хозяйшюшка, хозяйничает, от всей души меня чествует. Я, разумеется, не настаиваю, ну да и не протестую. А вот и Настасья с чаем. Эка проворная! Настенька, хошь пивца?

— И, ну те к проказнику!

— А чайку?

— Чайку, пожалуй.

— Наливай. Пстой, я тебе сам налью; садись за стол.

Он тотчас же распорядился, налил, потом налил еще другую чашку, бросил свой завтрак и пересел опять на диван. По-прежнему обхватил он левою рукой голову больного, приподнял его и начал поить с чайной ложечки чаем, опять беспрерывно и особенно усердно подувая на ложку, как будто в этом процессе подувания и состоял самый главный и спасительный пункт выздоровления. Раскольников молчал и не сопротивлялся, несмотря на то, что чувствовал в себе весьма достаточно сил приподняться и усидеть на диване безо всякой посторонней помощи, и не только владеть руками настолько, чтобы удержать ложку или чашку, но даже, может быть, и ходить. Но по какой-то странной, чуть не звериной хитрости ему вдруг пришло в голову скрыть до времени свои силы, притаиться, прикинуться, если надо, даже еще не совсем понимающим, а между тем выслушать и выведать, что такое тут происходит? Впрочем, он не совладал с своим отвращением: схлебнув ложек десять чаю, он вдруг высвободил свою голову, капризно оттолкнул ложку и повалился опять на подушку. Под головами его действительно лежали теперь настоящие подушки — пуховые и с чистыми наволочками; он это тоже заметил и взял в соображение.

— Надо, чтобы Пашенька сегодня же нам малинового варенья прислала, питье ему сделать, — сказал Разумихин, усаживаясь на свое место и опять принимаясь за суп и за пиво.

— А где она тебе малины возьмет? — спросила Настасья, держа на растопыренных пяти пальцах блюдечко и процеживая в себя чай «через сахар».

— Малину, друг мой, она возьмет в лавочке. Видишь, Родя, тут без тебя целая история

произошла. Когда ты таким мошенническим образом удрал от меня и квартиры не сказал, меня вдруг такое зло взяло, что я положил тебя разыскать и казнить. В тот же день и приступил. Уж я ходил, ходил, расспрашивал, расспрашивал! Эту-то, теперешнюю квартиру я забыл; впрочем, я ее никогда и не помнил, потому что не знал. Ну, а прежнюю квартиру, — помню только, что у Пяти Углов, — Харламова дом. Искал, искал я этот Харламов дом, — а ведь вышло потом, что он вовсе и не Харламов дом, а Буха, — как иногда в звуках-то сбиваешься! Ну я и рассердился. Рассердился да и пошел, была не была, на другой день в адресный стол, и представь себе: в две минуты тебя мне там разыскали. Ты там записан.

— Записан!

— Еще бы; а вот генерала Кобелева никак не могли там при мне разыскать. Ну-с, долго рассказывать. Только как я нагрянул сюда, тотчас же со всеми твоими делами познакомился; со всеми, братец, со всеми, все знаю; вот и она видела: и с Никодимом Фомичом познакомился, и Илью Петровича мне показывали, и с дворником, и с господином Заметовым, Александром Григорьевичем, письмоводителем в здешней конторе, а наконец, и с Пашенькой, — это уж был венец: вот и она знает...

— Усахарил, — пробормотала Настасья, плутовски усмехаясь.

— Да вы бы внакладочку, Настасья Никифоровна.

— Ну ты, пес! — вдруг крикнула Настасья и прыснула со смеху. — А ведь я Петрова, а не Никифорова, — прибавила она вдруг, когда перестала смеяться.

— Будем ценить-с. Ну так вот, брат, чтобы лишнего не говорить, я хотел сначала здесь электрическую струю повсеместно пустить, так чтобы все предрассудки в здешней местности разом искоренить; но Пашенька победила. Я, брат, никак и не ожидал, чтоб она была такая... авенантенькая...² а? Как ты думаешь?

Раскольников молчал, хотя ни на минуту не отрывал от него своего встревоженного взгляда, и теперь упорно продолжал глядеть на него.

— И очень даже, — продолжал Разумихин, нисколько не смущаясь молчанием и как будто поддакивая полученному ответу, — и очень даже в порядке, во всех статьях.

— Ишь тварь! — вскрикнула опять Настасья, которой разговор этот доставлял, по-видимому, неизъяснимое блаженство.

— Скверно, брат, то, что ты с самого начала не сумел взяться за дело. С ней надо было не так. Ведь это, так сказать, самый неожиданный характер! Ну, да об характере потом... А только как, например, довести до того, чтоб она тебе обеда смела не присылать? Или, например, этот вексель? Да ты с ума сошел, что ли, векселя подписывать! Или, например, этот предполагавшийся брак, когда еще дочка, Наталья Егоровна, жива была... Я все знаю! А впрочем, я вижу, что это деликатная струна и что я осел; ты меня извини. Но кстати о глупости: как ты думаешь, ведь Прасковья Павловна совсем, брат, не так глупа, как с первого взгляда можно предположить, а?

— Да... — процедил Раскольников, смотря в сторону, но понимая, что выгоднее поддержать разговор.

— Не правда ли? — вскричал Разумихин, видимо обрадовавшись, что ему ответили, — но ведь и не умна, а? Совершенно, совершенно неожиданный характер! Я, брат, отчасти теряюсь, уверяю тебя... Сорок-то ей верных будет. Она говорит — тридцать шесть, и на это полное право имеет. Впрочем, клянусь тебе, что сужу об ней больше умственно, по одной метафизике; тут, брат, у нас такая эмблема завязалась, что твоя алгебра! Ничего не понимаю! Ну, да все это вздор, а только она, видя, что ты уже не студент, уроков и костюма лишился и что по смерти барышни ей нечего уже тебя на родственной ноге держать, вдруг испугалась; а так как ты, с своей стороны, забился в угол и ничего прежнего не поддерживал, она и вздумала тебя с квартиры согнать. И давно она это намерение питала, да векселя стало жалко. К тому же ты сам уверял, что мамаша заплатит...

— Это я по подлости моей говорил... Мать у меня сама чуть милостыни не просит... а я

лгал, чтоб меня на квартире держали и... кормили, — проговорил громко и отчетливо Раскольников.

— Да, это ты благоразумно. Только вся штука в том, что тут и подвернись господин Чебаров, надворный советник и деловой человек. Пашенька без него ничего бы не выдумала, уж очень стыдлива; ну, а деловой человек не стыдлив и первым делом, разумеется, предложил вопрос: есть ли надежда осуществить векселек? Ответ: есть, потому такая мамаша есть, что из стадвадцатипятирублевой своей пенсии хоть сама есть не будет, а уж Роденьку выручит, да сестрица такая есть, что за братца в кабалу пойдет. На этом-то он и основался... Что шевелишься-то? Я, брат, теперь всю твою подноготную разузнал, недаром ты с Пашенькой откровенничал, когда еще на родственной ноге состоял, а теперь любя говорю... То-то вот и есть; честный и чувствительный человек откровенничает, а деловой человек слушает да ест, а потом и съест. Вот и уступила она сей векселек, якобы уплатою, сему Чебарову, а тот формально и потребовал, не сконфузился. Хотел было я ему, как узнал это все, так, для очистки совести, тоже струю пустить, да на ту пору у нас с Пашенькой гармония вышла, и я повелел это дело все прекратить, в самом то есть источнике, поручившись, что ты заплатишь. Я, брат, за тебя поручился, слышишь? Позвали Чебарова, десять целковых ему в зубы, а бумагу назад, и вот честь имею ее вам представить, — на слово вам теперь верят, — вот, возьмите, и надорвана мною как следует.

Разумихин выложил на стол заемное письмо; Раскольников взглянул на него и, не сказав ни слова, отворотился к стене. Даже Разумихина покорило.

— Вижу, брат, — проговорил он через минуту, — что опять из себя дурака сваял. Думал было тебя развлечь и болтовней потешить, а, кажется, только желчь нагнал.

— Это тебя я не узнавал в бреду? — спросил Раскольников, тоже помолчав с минуту и не оборачивая головы.

— Меня, и даже в испугание входили по сему случаю, особенно когда я раз Заметова приводил.

— Заметова?.. Письмоводителя?.. Зачем? — Раскольников быстро оборотился и уперся глазами в Разумихина.

— Да чего ты так... Что встревожился? Познакомиться с тобой пожелал; сам пожелал, потому что много мы с ним о тебе переговорили... Иначе от кого ж бы я про тебя столько узнал? Славный, брат, он малый, чудеснейший... в своем роде, разумеется. Теперь приятели; чуть не ежедневно видимся. Ведь я в эту часть переехал. Ты не знаешь еще? Только что переехал. У Лавизы с ним раза два побывали. Лавизу-то помнишь, Лавизу Ивановну?

— Бредил я что-нибудь?

— Еще бы! Себе не принадлежали-с.

— О чем я бредил?

— Эвось! О чем бредил? Известно, о чем бредят... Ну, брат, теперь, чтобы времени не терять, за дело.

Он встал со стула и схватился за фуражку.

— О чем бредил?

— Эк ведь наладит! Уж не за секрет ли какой боишься? Не беспокойся; о графине ничего не было сказано. А вот о бульдоге каком-то, да о сережках, да о цепочках каких-то, да о Крестовском острове, да о дворнике каком-то, да о Никодиме Фомиче, да об Илье Петровиче, надзирателя помощнике, много было говорено. Да, кроме того, собственным вашим носком очень даже интересоваться изволили, очень! Жалобились; подайте, дескать, да и только. Заметов сам по всем углам твои носки разыскивал и собственными, вымытыми в духах, ручками, с перстнями, вам эту дрянь подавал. Тогда только и успокоились, и целые сутки в руках эту дрянь продержали: вырвать нельзя было. Должно быть, и теперь где-нибудь у тебя под одеялом лежит. А то еще бахромы на панталоны просил, да ведь как слезно! Мы уж допытывались: какая там еще бахрома? Да ничего

разобрать нельзя было... Ну-с, так за дело! Вот тут тридцать пять рублей; из них десять беру, а часика через два в них отчет представляю. Тем временем дам знать и Зосимову, хоть и без того бы ему следовало давно здесь быть, ибо двенадцатый час. А вы, Настенька, почаще без меня наведывайтесь, насчет там питья или чего-нибудь прочего, что пожелают... А Пашеньке я и сам сейчас, что надо, скажу. До свидания!

— Пашенькой зовет! Ах ты рожа хитростная! — проговорила ему вслед Настасья; затем отворила дверь и стала подслушивать, но не вытерпела и сама побежала вниз. Очень уж ей интересно было узнать, о чем он говорит там с хозяйкой; да и вообще видно было, что она совсем очарована Разумихиным.

Едва только затворилась за ней дверь, больной сбросил с себя одеяло и, как полоумный, вскочил с постели. Со жгучим судорожным нетерпением ждал он, чтоб они поскорее ушли, чтобы тотчас же без них и приняться за дело. Но за что же, за какое дело? — он как будто бы теперь, как нарочно, и забыл: «Господи! скажи ты мне только одно: знают они обо всем или еще не знают? А ну как уж знают и только прикидываются, дразнят, покуда лежу, а там вдруг войдут и скажут, что все давно уж известно и что они только так... Что же теперь делать? Вот и забыл, как нарочно, вдруг забыл, сейчас помнил!...»

Он стоял среди комнаты и в мучительном недоумении осматривался кругом; подошел к двери, отворил, прислушался; но это было не то. Вдруг, как бы вспомнив, бросился он к углу, где в обоях была дыра, начал все осматривать, запустил в дыру руку, пошарил, но и это не то. Он пошел к печке, отворил ее и начал шарить в золе: кусочки бахромы от панталон и лоскутья разорванного кармана так и валялись, как он их тогда бросил, стало быть, никто не смотрел! Тут вспомнил он про носок, про который Разумихин сейчас рассказывал. Правда, вот он на диване лежит, под одеялом, но уж до того затерся и загрязнился с тех пор, что, уж конечно, Заметов ничего не мог рассмотреть.

«Ба, Заметов!.. контора!.. А зачем меня в контору зовут? Где повестка? Ба!.. я смешал: это тогда требовали! Я тогда тоже носок осматривал, а теперь... теперь я был болен. А зачем Заметов заходил? Зачем приводил его Разумихин?.. — бормотал он в бессилии, садясь опять на диван. — Что ж это? Бред ли это все со мной продолжается или взаправду? Кажется, взаправду... А, вспомнил: бежать! скорее бежать, непременно, непременно бежать! Да... а куда? А где мое платье? Сапогов нет! Убрали! Спрятали! Понимаю! А, вот пальто — проглядели! Вот и деньги на столе, слава богу! Вот и вексель... Я возьму деньги и уйду, и другую квартиру найму, они не сыщут!.. Да, а адресный стол? Найдут! Разумихин найдет. Лучше совсем бежать... далеко... в Америку, и наплевать на них! И вексель взять... он там пригодится. Чего еще-то взять? Они думают, что я болен! Они и не знают, что я ходить могу, хе, хе, хе!.. Я по глазам угадал, что они всё знают! Только бы с лестницы сойти! А ну как у них там сторожа стоят, полицейские! Что это, чай! А, вот и пиво осталось, полбутылки, холодное!»

Он схватил бутылку, в которой еще оставалось пива на целый стакан, и с наслаждением выпил залпом, как будто потушая огонь в груди. Но не прошло и минуты, как пиво стукнуло ему в голову, а по спине пошел легкий и даже приятный озноб. Он лег и натянул на себя одеяло. Мысли его, и без того больные и бессвязные, стали мешаться все больше и больше, и вскоре сон, легкий и приятный, обхватил его. С наслаждением отыскал он головой место на подушке, плотнее закутался мягким ватным одеялом, которое было теперь на нем вместо разорванной прежней шинели, тихо вздохнул и заснул глубоким, крепким, целебным сном. Проснулся он, услышав, что кто-то вошел к нему, открыл глаза и увидел Разумихина, отворившего дверь настежь и стоявшего на пороге, недоумеая: входить или нет? Раскольников быстро привстал на диване и смотрел на него, как будто силясь что-то припомнить.

— А, не спишь, ну вот и я! Настасья, тащи сюда узел! — крикнул Разумихин вниз. — Сейчас отчет получишь...

— Который час? — спросил Раскольников, тревожно озираясь.

— Да лихо, брат, поспал: вечер на дворе, часов шесть будет. Часов шесть с лишком спал...

— Господи! Что ж это я!..

— А чего такого? На здоровье! Куда спешить? На свиданье, что ли? Все время теперь наше. Я уж часа три тебя жду; раза два заходил, ты спал. К Зосимову два раза наведывался: нет дома, да и только! Да ничего, придет!.. По своим делишкам тоже отлучался. Я ведь сегодня переехал, совсем переехал, с дядей. У меня ведь теперь дядя... Ну да к черту, за дело!.. Давай сюда узел, Настенька. Вот мы сейчас... А как, брат, себя чувствуешь?

— Я здоров; я не болен... Разумихин, ты здесь давно?

— Говорю, три часа дожидаюсь.

— Нет, а прежде?

— Что прежде?

— С какого времени сюда ходишь?

— Да ведь я же тебе давеча пересказывал: аль не помнишь?

Раскольников задумался. Как во сне ему мерещилось давешнее. Один он не мог припомнить и вопросительно смотрел на Разумихина.

— Гм! — сказал тот, — забыл! Мне еще давеча мерещилось, что ты все еще не в своем... Теперь со сна-то поправился... Право, совсем лучше смотришь. Молодец! Ну да к делу! Вот сейчас припомнишь. Смотри-ка сюда, милый человек.

Он стал развязывать узел, которым, видимо, чрезвычайно интересовался.

— Это, брат, веришь ли, у меня особенно на сердце лежало. Потом надо же из тебя человека сделать. Приступим: сверху начнем. Видишь ли ты эту [каскетку](#)? — начал он, вынимая из узла довольно хорошенькую, но в то же время очень обыкновенную и дешевую фуражку. — Позволь-ка примерить?

— Потом, после, — проговорил Раскольников, отмахиваясь брюзгливо.

— Нет уж, брат Родя, не противься, потом поздно будет; да и я всю ночь не засну, потому без мерки, наугад покупал. Как раз! — воскликнул он торжественно, примерив, — как раз по мерке! Головной убор, это, брат, самая первейшая вещь в костюме, своего рода рекомендация. Толстяков, мой приятель, каждый раз принужден снимать свою покрывку, входя куда-нибудь в общее место, где все другие в шляпах и фуражках стоят. Все думают, что он от рабских чувств, а он просто оттого, что своего гнезда птичьего стыдится: стыдливый такой человек! Ну-с, Настенька, вот вам два головные убора: сей [пальмерстон](#) (он достал из угла исковерканную круглую шляпу Раскольникова, которую, неизвестно почему, назвал пальмерстоном) или сия ювелирная вещица? Оцени-ка, Родя, как думаешь, что заплатил? Настасьюшка? — обратился он к ней, видя, что тот молчит.

— Двугривенный небось отдал, — отвечала Настасья.

— Двугривенный, дура! — крикнул он обидевшись, — нынче за двугривенный и тебя не купишь, — восемь гривен! Да и то потому, что поношенный. Оно, правда, с уговором: этот износишь, на будущий год другой даром дают, ей-богу! Ну-с, приступим теперь к Соединенным Американским Штатам, как это в гимназии у нас называли. Предупреждаю, штанами горжусь! — и он расправил перед Раскольниковым серые, из легкой летней шерстяной материи панталоны, — ни дырочки, ни пятнышка, а между тем весьма сносные, хотя и поношенные, таковая же и жилетка, одноцвет, как мода требует. А что поношенные, так это, по правде, и лучше: мягче, нежнее. Видишь, Родя, чтобы сделать в свете карьеру, достаточно, по-моему, всегда сезон наблюдать; если в январе спаржи не потребуешь, то несколько целковых в кошельке сохранишь; то же в отношении и к сей покупке. Нынче летний сезон, я и покупку летнюю сделал, потому к осени сезон и без того более теплой материи потребует, так придется ж бросать... тем более что все это тогда уж успеет само разрушиться, если не от усилившейся роскоши, так от внутренних неустройств. Ну, цени! Сколько, по-твоему? Два рубля двадцать пять копеек! И помни, опять с прежним условием: эти износишь, на будущий год другие даром берешь. В лавке

Федяева иначе не торгуют: раз заплатил, и на всю жизнь доволен, потому другой раз и сам не пойдешь. Ну-с, приступим теперь к сапогам — каковы? Ведь уж видно, что поношенные, а ведь месяца на два удовлетворят, потому что заграничная работа и товар заграничный: секретарь английского посольства прошлую неделю на толкучем спустил; всего шесть дней и носил, да деньги очень понадобились. Цена один рубль пятьдесят копеек. Удачно?

— Да, может, не впору! — заметила Настасья.

— Не впору! А это что? — и он вытащил из кармана старый, закорюзлый, весь облепленный засохшею грязью дырявый сапог Раскольников, — я с запасом ходил, мне и восстановили по этому чудищу настоящий размер. Все это дело сердечно велось. А насчет белья с хозяйкой столковались. Вот, во-первых, три рубашки, холстинные, но с модным верхом... Ну-с, итак: восемь гривен картуз, два рубля двадцать пять прочее одеяние, итого три рубля пять копеек; рубль пятьдесят сапоги — потому что уж очень хорошие, — итого четыре рубля пятьдесят копеек, да пять рублей все белье, — оптом сторговались, — итого ровно девять рублей пятьдесят пять копеек. Сорок пять копеек сдачи, медными пятаками, вот-с, извольте принять, и, таким образом, Родя, ты теперь во всем костюме восстановлен, потому что, по моему мнению, твоё пальто не только еще может служить, но даже имеет в себе вид особенного благородства: что значит у [Шармера-то](#) заказывать! Насчет носков и прочего остального предоставляю тебе самому; денег остается нам двадцать пять рубликов, а о Пашеньке и об уплате за квартиру не беспокойся; я говорил: кредит безграничайший. А теперь, брат, позволь тебе белье переменить, а то, пожалуй, болезнь в рубашке-то только теперь и сидит...

— Оставь! Не хочу! — отмахивался Раскольников, с отвращением слушавший напряженно-игривую репликацию Разумихина о покупке платья...

— Это, брат, невозможно; из чего ж я сапоги топтал! — настаивал Разумихин. — Настасьюшка, не стыдитесь, а помогите, вот так! — И, несмотря на сопротивление Раскольникова, он все-таки переменял ему белье. Тот повалился на изголовье и минуты две не говорил ни слова.

«Долго же не отвяжутся!» — думал он. — Из каких денег это все куплено? — спросил он наконец, глядя в стену.

— Денег? Вот тебе на! Да из твоих же собственных. Давеча артельщик был, от Вахрушина, мамаша прислала; аль и это забыл?

— Теперь помню... — проговорил Раскольников после долгой и угрюмой задумчивости. Разумихин, нахмурясь, с беспокойством на него посматривал.

Дверь отворилась, и вошел высокий и плотный человек, как будто тоже уже несколько знакомый с виду Раскольникову.

— Зосимов! Наконец-то! — крикнул Разумихин, обрадовавшись.

IV

Зосимов был высокий и жирный человек, с одутловатым и бесцветно-бледным, гладковыбритым лицом, с белобрысыми прямыми волосами, в очках и с большим золотым перстнем на припухшем от жиру пальце. Было ему лет двадцать семь. Одет он был в широком щегольском легком пальто, в светлых летних брюках, и вообще все было на нем широко, щегольское и с иголки; белье безукоризненное, цепь к часам массивная. Манера его была медленная, как будто вялая и в то же время изученно-развязная: претензия, впрочем усиленно скрываемая, проглядывала поминутно. Все его знавшие находили его человеком тяжелым, но говорили, что свое дело знает.

— Я, брат, два раза к тебе заходил... Видишь, очнулся! — крикнул Разумихин.

— Вижу, вижу: ну так как же мы теперь себя чувствуем, а? — обратился Зосимов к Раскольникову, пристально в него вглядываясь и усаживаясь к нему на диван, в ногах, где тотчас же и развалился по возможности.

— Да все хандрит, — продолжал Разумихин, — белье мы ему сейчас переменили, так чуть не заплакал.

— Понятное дело: белье можно бы и после, коль сам не желает... Пульс славный. Голова-то все еще немного болит, а?

— Я здоров, я совершенно здоров! — настойчиво и раздражительно проговорил Раскольников, приподнявшись вдруг на диване и сверкнув глазами, но тотчас же повалился опять на подушку и оборотился к стене. Зосимов пристально наблюдал его.

— Очень хорошо... все как следует, — вяло произнес он. — Ел что-нибудь?

Ему рассказали и спросили, что можно давать.

— Да все можно давать... Супу, чаю... Грибов да огурцов, разумеется, не давать, ну и говядины тоже не надо, и... ну, да чего тут болтать-то!.. — Он переглянулся с Разумихиным. — Микстуру прочь, и все прочь, а завтра я посмотрю... Оно бы и сегодня... ну, да...

— Завтра вечером я его гулятьведу! — решил Разумихин, — в Юсупов сад, а потом в [«Пале де Кристаль»](#) зайдем.

— Завтра-то я бы его и шевелить не стал, а впрочем... немножко... ну, да там увидим.

— Эх, досада, сегодня я как раз новоселье справляю, два шага: вот бы и он. Хоть бы на диване полежал между нами! Ты-то будешь? — обратился вдруг Разумихин к Зосимову, — не забудь смотри, обещал.

— Пожалуй, попозже разве. Что ты там устроил?

— Да ничего, чай, водка, селедка. Пирог подадут: свои соберутся.

— Кто именно?

— Да всё здешние и всё почти новые, право, — кроме разве старого дяди, да и тот новый: вчера только в Петербург приехал, по каким-то там делишкам: в пять лет по разу и видимся.

— Кто такой?

— Да прозябал всю жизнь уездным почтмейстером... пенсионишко получает, шестьдесят пять лет, не стоит и говорить... Я его, впрочем, люблю. Порфирий Петрович придет: здешний пристав следственных дел... [правовед](#). Да, ведь ты знаешь...

— Он тоже какой-то твой родственник?

— Самый дальний какой-то; да ты что хмуришься? Что вы поругались-то раз, так ты, пожалуй, и не придешь?

— А наплевать мне на него...

— И всего лучше. Ну, а там — студенты, учитель, чиновник один, музыкант один, офицер, Заметов...

— Скажи мне, пожалуйста, что может быть общего у тебя или вот у него, — Зосимов кивнул на Раскольникова, — с каким-нибудь там Заметовым?

— Ох уж эти брюзгливые! Принципы!.. и весь-то ты на принципах, как на пружинах; повернуться по своей воле не смеет; а по-моему, хорош человек, — вот и принцип, и знать я ничего не хочу. Заметов человек чудеснейший.

— И руки греет.

— Ну, и руки греет, и наплевать! Так что ж, что греет! — крикнул вдруг Разумихин, как-то неестественно раздражаясь, — я разве хвалил тебе то, что он руки греет? Я говорил, что он в своем роде только хорош! А прямо-то, во всех-то родах смотреть — так много ль людей хороших останется? Да я уверен, что за меня тогда совсем с требухой всего-то одну печеную луковицу дадут, да и то если с тобой в придачу!..

— Это мало; я за тебя две дам...

— А я за тебя только одну! Остри еще! Заметов еще мальчишка, я еще волосенки ему надеру, потому что его надо привлекать, а не отталкивать. Тем, что оттолкнешь человека, — не исправишь, тем паче мальчишку. С мальчишкой вдвое осторожнее надо. Эх вы, тупицы прогрессивные, ничего-то не понимаете! Человека не уважаете, себя обижаете... А коли хочешь знать, так у нас, пожалуй, и дело одно общее завязалось.

— Желательно знать.

— Да все по делу о маляре, то есть о красильщике... Уж мы его вытащим! А впрочем, теперь и беды никакой. Дело совсем, совсем теперь очевидное! Мы только пару поддадим.

— Какой там еще красильщик?

— Как, разве я не рассказывал? Аль нет? Да бишь я тебе только начало рассказывал... вот, про убийство старухи-то закладчицы, чиновницы... ну, тут и красильщик теперь замешался...

— Да про убийство это я и прежде твоего слышал и этим делом даже интересуюсь... отчасти... по одному случаю... и в газетах читал! А вот...

— Лизавету-то тоже убили! — брякнула вдруг Настасья, обращаясь к Раскольникову. Она все время оставалась в комнате, прижавшись подле двери, и слушала.

— Лизавету? — пробормотал Раскольников едва слышным голосом.

— А Лизавету, торговку-то, аль не знаешь? Она сюда вниз ходила. Еще тебе рубаху чинила.

Раскольников оборотился к стене, где на грязных желтых обоях с белыми цветочками выбрал один неуклюжий белый цветок, с какими-то коричневыми черточками, и стал рассматривать: сколько в нем листиков, какие на листиках зазубринки и сколько черточек? Он чувствовал, что у него онемели руки и ноги, точно отнялись, но и не попробовал шевельнуться и упорно глядел на цветок.

— Ну так что ж красильщик? — с каким-то особенным неудовольствием перебил Зосимов болтовню Настасьи. Та вздохнула и замолчала.

— А тоже в убийцы записали! — с жаром продолжал Разумихин.

— Улики, что ль, какие?

— Кой черт улики! А впрочем, именно по улике, да улика-то эта не улика, вот что требуется доказать! Это точь-в-точь как сначала они забрали и заподозрили этих, как бишь их... Коха да Пестрякова. Тьфу! Как это все глупо делается, даже вчуже гадко становится! Пестряков-то, может, сегодня ко мне пойдет... Кстати, Родя, ты эту штуку уж знаешь, еще до болезни случилось, ровно накануне того, как ты в обморок в конторе упал, когда там про это рассказывали...

Зосимов любопытно посмотрел на Раскольникова; тот не шевелился.

— А знаешь что, Разумихин? Посмотрю я на тебя: какой ты, однако же, хлопотун, — заметил Зосимов.

— Это пусть, а все-таки вытащим! — крикнул Разумихин, стукнув кулаком по столу. — Ведь тут что всего обиднее? Ведь не то, что они врут; вранье всегда простить можно; вранье дело милое, потому что к правде ведет. Нет, то досадно, что врут, да еще собственному вранью поклоняются. Я Порфирия уважаю, но... Ведь что их, например, перво-наперво с толку сбило? Дверь была заперта, а пришли с дворником — отперта: ну, значит, Кох да Пестряков и убили! Вот ведь их логика.

— Да не горячись; их просто задержали; нельзя же... Кстати: я ведь этого Коха встречал; он ведь, оказалось, у старухи вещи просроченные скупал? а?

— Да, мошенник какой-то! Он и векселя тоже скупает. Промышленник. Да черт с ним! Я ведь на что злюсь-то, понимаешь ты это? На рутину их дряхлую, пошлейшую, закорузлую злюсь... А тут, в одном этом деле, целый новый путь открыть можно. По одним психологическим только данным можно показать, как на истинный след попадать должно. «У нас есть, дескать, факты!» Да ведь факты не всё; по крайней мере, половина дела в том, как с фактами обращаться умеешь!

— А ты с фактами обращаться умеешь?

— Да ведь нельзя же молчать, когда чувствуешь, ошупом чувствуешь, что вот мог бы делу помочь, кабы... Эх!.. Ты дело-то подробно знаешь?

— Да вот про красильщика жду.

— Да, бишь! Ну, слушай историю: ровно на третий день после убийства, поутру, когда они там нянчились еще с Кохом да Пестряковым, — хотя те каждый свой шаг доказали:

очевидность кричит! — объявляется вдруг самый неожиданный факт. Некто крестьянин Душкин, содержатель распивочной, напротив того самого дома, является в контору и приносит ювелирский футляр с золотыми серьгами и рассказывает целую повесть: «Прибежал-де ко мне повечеру, третьего дня, примерно в начале девятого, — день и час! вникаешь? — работник красильщик, который и до этого ко мне на дню забегал, Миколай, и принес мне ефту коробку, с золотыми сережками и с камушками, и просил за них под заклад два рубля, а на мой спрос: где взял? — объявил, что на панели поднял. Больше я его на том не расспрашивал, — это Душкин-то говорит, — а вынес ему билетик — рубль то есть, — потому-де думал, что не мне, так другому заложит; все одно — пропьет, а пусть лучше у меня вещь лежит: дальше-де положишь, ближе возьмешь, а объявится что аль слухи пойдут, тут я и представлю». Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает, врет, как лошадь, потому я этого Душкина знаю, сам он закладчик и краденое прячет, и тридцатирублевую вещь не для того, чтоб «представить», у Миколая подтибрил. Просто струсил. Ну да к черту, слушай; продолжает Душкин: «А крестьянина ефтова, Миколая Дементьева, знаю сызмалетства, нашей губернии и уезда, Зарайского, потому-де мы сами рязанские. А Миколай хоть не пьяница, а выпивает, и известно нам было, что он в ефтом самом доме работает, красит, вместе с Митрием, а с Митрием они из одних мест. И получимши билетик, он его тотчас разменял, выпил зараз два стаканчика, сдачу взял и пошел, а Митрея я с ним в тот час не видал. А на другой день прослышали мы, что Алену Ивановну и сестрицу их Лизавету Ивановну топором убили, а мы их знавали-с, и взяло меня тут сумление насчет серег, — потому известно нам было, что покойница под вещи деньги давала. Пошел я к ним в дом и стал осторожно про себя узнавать, тихими стопами, и перво-наперво спросил: тут ли Миколай? И сказывал Митрей, что Миколай загулял, пришел домой на рассвете, пьяный, дома пробыл примерно десять минут и опять ушел, а Митрей уж его потом не видал и работу один доканчивает. А работа у них по одной лестнице с убитыми, во втором этаже. Слышамши все это, мы тогда никому ничего не открыли, — это Душкин говорит, — а про убийство все, что могли, разузнали и воротились домой все в том же нашем сумлении. А сегодня поутру, в восемь часов, — то есть это на третий-то день, понимаешь? — вижу, входит ко мне Миколай, не тверезый, да и не то чтоб очень пьяный, а понимать разговор может. Сел на лавку, молчит. А опричь него в распивочной на ту пору был всего один человек посторонний, да еще спал на лавке другой, по знакомству, да двое наших мальчишков-с. „Видел, спрашиваю, Митрея?“ — „Нет, говорит, не видал“. — „И здесь не был?“ — „Не был, говорит, с третьего дни“. — „А ноне где ночевал?“ — „А на [Песках](#), говорит, у [коломенских](#)“. — „А где, говорю, тогда серьги взял?“ — „А на панели нашел“, — и говорит он это так, как будто бы неподобно и не глядя. „А слышал, говорю, что вот то и то, в тот самый вечер и в том часу, по той лестнице, произошло?“ — „Нет, говорит, не слышал“, — а сам слушает, глаза вытараща, и побелел он вдруг, ровно мел. Я, этта, ему рассказываю, смотрю, а он за шапку и начал вставать. Тут и захотел я его задержать: „Погоди, Миколай, говорю, аль не выпьешь?“ А сам мигнул мальчишке, чтобы дверь придержал, да из-за застойки-то выхожу: как он тут от меня прыснет, да на улицу, да бегом, да в проулок, — только я и видел его. Тут я и сумления моего решил, потому его грех, как есть...»

— Еще бы!.. — проговорил Зосимов.

— Стой! Конца слушай! Пустились, разумеется, со всех ног Миколая разыскивать: Душкина задержали и обыск произвели, Митрея тоже; пораспотрошили и коломенских, — только вдруг третьего дня и приводят самого Миколая: задержали его близ —ской заставы, на постоялом дворе. Пришел он туда, снял с себя крест, серебряный, и попросил за крест шкалик. Дали. Погодя немного минут, баба в коровник пошла и видит в щель: он рядом в сарае к балке кушак привязал, петлю сделал; стал на обрубок и хочет себе петлю на шею надеть; баба вскрикнула благим матом, сбежались: «Так вот ты каков!» — «А ведите меня, говорит, в такую-то часть, во всем повинюсь». Ну, его с надлежащими [онёрами](#) и представили в такую-то часть, сюда то есть. Ну то, се, кто, как, сколько лет —

«двадцать два» — и прочее и прочее. Вопрос: «Как работали с Митреем, не видали ль кого по лестнице, вот в таком-то и таком-то часу?» Ответ: «Известно, проходили, может, люди какие, да нам не в примету». — «А не слышали ль чего, шуму какого и прочего?» — «Ничего не слышали такого особенного». — «А было ль известно тебе, Миколаю, в тот самый день, что такую-то вдову в такой-то день и час с сестрой ее убили и ограбили?» — «Знать не знаю, ведать не ведаю. Впервой от Афанасия Павлыча, на третьи сутки, в распивошной услышал». — «А где серьги взял?» — «На панели нашел». — «Почему на другой день не явился с Митреем на работу?» — «Потому, этга, я загулял». — «А где гулял?» — «А там-то и там-то». — «Почему бежал от Душкина?» — «Потому уж испугались мы тогда очинна». — «Чего испугался?» — «А што засудят». — «Как же ты мог испугаться того, коли ты чувствуешь себя ни в чем не виновным?..» Ну, веришь иль не веришь, Зосимов, этот вопрос был предложен, и буквально в таких выражениях, я положительно знаю, мне верно передали! Каково? Каково?

— Ну, нет, однако ж, улики-то существуют.

— Да я не про улики теперь, а про вопрос, про то, как они сущность-то свою понимают! Ну, да черт!.. Ну, так жали его, жали, нажимали, нажимали, ну и повинился: «Не на панели, дескать, нашел, а в фатере нашел, в которой мы с Митреем мазали». — «Каким таким манером?» — «А таким самым манером, что мазали мы, этга, с Митреем весь день, до восьми часов, и уходит собирались, а Митрей взял кисть да мне по роже краской и мазнул, мазнул, этга, он меня в рожу краской, да и побег, а я за ним. И бегу, этга, я за ним, а сам кричу благим матом; а как с лестницы в подворотню выходить — набежал я с размаху на дворника и на господ, а сколько было с ним господ, не упомню, а дворник за то меня обругал, а другой дворник тоже обругал, и дворникова баба вышла, тоже нас обругала, и господин один в подворотню входил, с дамою, и тоже нас обругал, потому мы с Митькой поперек места легли: я Митьку за волосы схватил и повалил и стал тузить, а Митька тоже, из-под меня, за волосы меня ухватил и стал тузить, а делали мы то не по злобе, а по всей то есть любви, играючи. А потом Митька ослобонился да на улицу и побег, а я за ним, да не догнал и воротился в фатеру один, — потому прибираться надоть бы было. Стал я собирать и жду Митрея, авось подойдет. Да у дверей в сени, за стенкой, в углу, на коробку и наступил. Смотрю, лежит, в гумаге завернута. Я гумагу-то снял, вижу крючочки такие махочкие, крючочки-то мы, этга, снимали — ан в коробке-то серьги...»

— За дверьми? За дверями лежала? За дверями? — вскричал вдруг Раскольников, мутным, испуганным взглядом смотря на Разумихина, и медленно приподнялся, опираясь рукой, на диване.

— Да... а что? Что с тобой? Чего ты так? — Разумихин тоже приподнялся с места.

— Ничего!.. — едва слышно отвечал Раскольников, опускаясь опять на подушку и опять отворачиваясь к стене. Все помолчали немного.

— Задремал, должно быть, спросонья, — проговорил, наконец, Разумихин, вопросительно смотря на Зосимова; тот сделал легкий отрицательный знак головой.

— Ну, продолжай же, — сказал Зосимов, — что дальше?

— Да что дальше? Только что он увидел серьги, как тотчас же, забыв и квартиру и Митьку, схватил шапку и побежал к Душкину и, как известно, получил от него рубль, а ему соврал, что нашел на панели, и тотчас же загулял. А про убийство подтверждает прежнее: «Знать не знаю, ведать не ведаю, только на третий день услышал». — «А зачем же ты до сих пор не являлся?» — «Со страху». — «А повеситься зачем хотел?» — «От думы». — «От какой думы?» — «А что засудят». Ну, вот и вся история. Теперь, как думаешь, что они отсюда извлекли?

— Да чего думать-то, след есть, хоть какой да есть. Факт. Не на волю ж выпустить твоего красильщика?

— Да ведь они ж его прямо в убийцы теперь записали! У них уж и сомнений нет никаких...

— Да врешь; горячишься. Ну, а серьги? Согласись сам, что коли в тот самый день и

час к Николаю из старухина сундука попадают серьги в руки, — согласишься сам, что они как-нибудь да должны же были попасть? Это немало при таком следствии.

— Как попали! Как попали? — вскричал Разумихин, — и неужели ты, доктор, ты, который прежде всего человека изучать обязан и имеешь случай, скорей всякого другого, натуру человеческую изучить, — неужели ты не видишь, по всем этим данным, что это за натура этот Николай? Неужели не видишь, с первого же разу, что все, что он показал при допросах, святейшая правда есть? Точнехонько так и попали в руки, как он показал. Наступил на коробку и поднял.

— Святейшая правда! Однако ж сам признался, что с первого разу солгал?

— Слушай меня. Слушай внимательно: и дворник, и Кох, и Пестряков, и другой дворник, и жена первого дворника, и мещанка, что о ту пору у ней в дворницкой сидела, и надворный советник Крюков, который в эту самую минуту с извозчика встал и в подворотню входил об руку с дамою, — все, то есть восемь или десять свидетелей, единогласно показывают, что Николай придавил Дмитрия к земле, лежал на нем и его тузил, а тот ему в волосы вцепился и тоже тузил. Лежат они поперек дороги и проход загораживают; их ругают со всех сторон, а они, «как малые ребята» (буквальное выражение свидетелей), лежат друг на друге, визжат, дерутся и хохочут, оба хохочут взапуски, с самыми смешными рожами, и один другого догонять, точно дети, на улицу выбежали. Слышал? Теперь строго заметь себе: тела наверху еще теплые, слышишь, теплые, так нашли их! Если убили они, или только один Николай, и при этом ограбили сундуки со взломом, или только участвовали чем-нибудь в грабеже, то позволь тебе задать всего только один вопрос: сходится ли подобное душевное настроение, то есть взвизги, хохот, ребяческая драка под воротами, — с топорами, с кровью, с злодейскою хитростью, осторожностью, грабежом? Тотчас же убили, всего каких-нибудь пять или десять минут назад, — потому так выходит, тела еще теплые, — и вдруг, бросив и тела, и квартиру отпертую и зная, что сейчас туда люди прошли, и добычу бросив, они, как малые ребята, валяются на дороге, хохочут, всеобщее внимание на себя привлекают, и этому десять единогласных свидетелей есть!

— Конечно, странно! Разумеется, невозможно, но...

— Нет, брат, не *но*, а если серьги, в тот же день и час очутившиеся у Николая в руках, действительно составляют важную фактическую против него контру — однако ж прямо объясняемую его показаниями, следственно еще *спорную контру*, — то надо же взять в соображение факты и оправдательные, и тем паче что они факты *неотразимые*. А как ты думаешь, по характеру нашей юриспруденции, примут или способны ль они принять такой факт, — основанный единственно только на одной психологической невозможности, на одном только душевном настроении, — за факт неотразимый и все обвинительные и вещественные факты, каковы бы они ни были, разрушающий? Нет, не примут, не примут ни за что, потому-де коробку нашли, и человек удавиться хотел, «чего не могло быть, если б не чувствовал себя виноватым!». Вот капитальный вопрос, вот из чего горячусь я! Пойми!

— Да я и вижу, что ты горячишься. Пстой, забыл спросить: чем доказано, что коробка с серьгами действительно из старухина сундука?

— Это доказано, — отвечал Разумихин, нахмурясь и как бы нехотя. — Кох узнал вещь и закладчика указал, а тот положительно доказал, что вещь точно его.

— Плохо. Теперь еще: не видал ли кто-нибудь Николая в то время, когда Кох да Пестряков наверх прошли, и нельзя ли это чем-нибудь доказать?

— То-то и есть, что никто не видал, — отвечал Разумихин с досадой, — то-то и скверно; даже Кох с Пестряковым их не заметили, когда наверх проходили, хотя их свидетельство и не очень много бы теперь значило. «Видели, говорят, что квартира отпертая, что в ней, должно быть, работали, но, проходя, внимания не обратили и не помним точно, были ли там в ту минуту работники или нет».

— Гм. Стало быть, всего только и есть оправдания, что тузили друг друга и хохотали.

Положим, это сильное доказательство, но... Позволь теперь: как же ты сам-то весь факт объясняешь? находку серег чем объяснишь, коли действительно он их так нашел, как показывает?

— Чем объясняю! Да чего тут объяснять: дело ясное! По крайней мере, дорога, по которой надо дело вести, ясна и доказана, и именно коробка доказала ее. Настоящий убийца обронил эти серьги. Убийца был наверху, когда Кох и Пестряков стучались, и сидел на запоре. Кох сдурил и пошел вниз; тут убийца выскочил и побежал тоже вниз, потому никакого другого у него не было выхода. На лестнице спрятался он от Коха, Пестрякова и дворника в пустую квартиру, именно в ту минуту, когда Дмитрий и Николай из нее выбежали, простоял за дверью, когда дворник и те проходили наверх, переждал, пока затихли шаги, и сошел себе вниз преспокойно, ровно в ту самую минуту, когда Дмитрий с Николаем на улицу выбежали, и все разошлись, и никого под воротами не осталось. Может, и видели его, да не заметили; мало ли народу проходит? А коробку он выронил из кармана, когда за дверью стоял, и не заметил, что выронил, потому не до того ему было. Коробка же ясно доказывает, что он именно там стоял. Вот и вся штука!

— Хитро! Нет, брат, это хитро. Это хитрее всего!

— Да почему же, почему же?

— Да потому что слишком уж все удачно сошлось... и сплелось... точно как на театре.

— Э-эх! — вскричал было Разумихин, но в эту минуту отворилась дверь, и вошло одно новое, не знакомое ни одному из присутствующих лицо.

V

Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожной и брюзгливою физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно-нескрываемым удивлением и как будто спрашивал взглядами: «Куда ж это я попал?» Недоверчиво и даже с аффектацией некоторого испуга, чуть ли даже не оскорбления, озирает он тесную и низкую «морскую каюту» Раскольников. С тем же удивлением перевел и уставил потом глаза на самого Раскольника, раздетого, всклокоченного, невымытого, лежавшего на мизерном грязном своем диване и тоже неподвижно его рассматривавшего. Затем, с тою же медлительностью, стал рассматривать растрепанную, небритую и нечесаную фигуру Разумихина, который, в свою очередь, дерзко-вопросительно глядел ему прямо в глаза, не двигаясь с места. Напряженное молчание длилось с минуту, и, наконец, как и следовало ожидать, произошла маленькая перемена декорации. Сообразив, должно быть, по некоторым, весьма, впрочем, резким, данным, что преувеличенно-строгую осанку здесь, в этой «морской каюте», ровно ничего не возьмешь, вошедший господин несколько смягчился и вежливо, хотя и не без строгости, произнес, обращаясь к Зосимову и отчеканивая каждый слог своего вопроса:

— Родион Романыч Раскольников, господин студент или бывший студент?

Зосимов медленно шевельнулся и, может быть, и ответил бы, если бы Разумихин, к которому вовсе не относились, не предупредил его тотчас же:

— А вот он лежит на диване! А вам что нужно?

Это фамильярное «а вам что нужно?» так и подсекло чопорного господина; он даже чуть было не повернулся к Разумихину, но успел-таки сдержать себя вовремя и поскорей повернулся опять к Зосимову.

— Вот Раскольников! — промямлил Зосимов, кивнув на больного, затем зевнул, причем как-то необыкновенно много раскрыл свой рот и необыкновенно долго держал его в таком положении. Потом медленно потащился в свой жилетный карман, вынул огромнейшие выпуклые глухие золотые часы, раскрыл, посмотрел и так же медленно и лениво потащился опять их укладывать.

Сам Раскольников все время лежал молча, навзничь, и упорно, хотя и без всякой мысли, глядел на вошедшего. Лицо его, отвернувшееся теперь от любопытного цветка на

обоях, было чрезвычайно бледно и выражало необыкновенное страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или выпустили его сейчас из-под пытки. Но вошедший господин мало-помалу стал возбуждать в нем все больше и больше внимания, потом недоумения, потом недоверчивости и даже как будто боязни. Когда же Зосимов, указав на него, проговорил: «вот Раскольников», он, вдруг быстро приподнявшись, точно привскочив, сел на постели и почти вызывающим, но прерывистым и слабым голосом произнес:

— Да! Я Раскольников! Что вам надо?

Гость внимательно посмотрел и внушительно произнес:

— Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уже вам безызвестно.

Но Раскольников, ожидавший чего-то совсем другого, тупо и задумчиво посмотрел на него и ничего не ответил, как будто имя Петра Петровича слышал он решительно в первый раз.

— Как? Неужели вы до сих пор не изволили еще получить никаких известий? — спросил Петр Петрович, несколько коробясь.

В ответ на это Раскольников медленно опустился на подушку, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок. Тоска проглянула в лице Лужина. Зосимов и Разумихин еще с большим любопытством принялись его оглядывать, и он видимо, наконец, сконфузился.

— Я предполагал и рассчитывал, — замямлил он, — что письмо, пущенное уже с лишком десять дней, даже чуть ли не две недели...

— Послушайте, что ж вам все стоять у дверей-то? — перебил вдруг Разумихин, — коли имеете что объяснить, так садитесь, а обоим вам, с Настасьей, там тесно.

Настасьюшка, посторонись, дай пройти! Проходите, вот вам стул, сюда! Пролезайте же!

Он отодвинул свой стул от стола, высвободил немного пространства между столом и своими коленями и ждал несколько в напряженном положении, чтобы гость «пролез» в эту щелочку. Минута была так выбрана, что никак нельзя было отказаться, и гость полез через узкое пространство, торопясь и спотыкаясь. Достигнув стула, он сел и мнительно поглядел на Разумихина.

— Вы, впрочем, не конфузьтесь, — брякнул тот, — Родя пятый день уже болен и три дня бредил, а теперь очнулся и даже ел с аппетитом. Это вот его доктор сидит, только что его осмотрел, а я товарищ Родькин, тоже бывший студент, и теперь вот с ним нянчусь; так вы нас не считайте и не стесняйтесь, а продолжайте, что вам там надо.

— Благодарю вас. Не беспокою ли я, однако, больного своим присутствием и разговором? — обратился Петр Петрович к Зосимову.

— Н-нет, — проямлил Зосимов, — даже развлечь можете, — и опять зевнул.

— О, он давно уже в памяти, с утра! — продолжал Разумихин, фамильярность которого имела вид такого неподдельного простодушия, что Петр Петрович подумал и стал ободряться, может быть, отчасти и потому, что этот оборванец и нахал успел-таки отрекомендоваться студентом.

— Ваша мамаша... — начал Лужин.

— Гм! — громко сделал Разумихин. Лужин посмотрел на него вопросительно.

— Ничего, я так; ступайте...

Лужин пожал плечами.

— ...Ваша мамаша, еще в бытность мою при них, начала к вам письмо. Приехав сюда, я нарочно пропустил несколько дней и не приходил к вам, чтоб уж быть вполне уверенным, что вы извещены обо всем: но теперь, к удивлению моему...

— Знаю, знаю! — проговорил вдруг Раскольников с выражением самой нетерпеливой досады. — Это вы? Жених? Ну, знаю!.. и довольно!

Петр Петрович решительно обиделся, но смолчал. Он усиленно спешил сообразить, что все это значит? С минуту продолжалось молчание.

Между тем Раскольников, слегка было оборотившийся к нему при ответе, принялся

вдруг его снова рассматривать пристально и с каким-то особенным любопытством, как будто давеча еще не успел его рассмотреть всего или как будто что-то новое в нем его поразило: даже приподнялся для этого нарочно с подушки. Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное, а именно нечто как бы оправдывавшее название «жениха», так бесцеремонно ему сейчас данное. Во-первых, было видно и даже слишком заметно, что Петр Петрович усиленно поспешил воспользоваться несколькими днями в столице, чтоб успеть принарядиться и прикраситься в ожидании невесты, что, впрочем, было весьма невинно и позволительно. Даже собственное, может быть, даже слишком самодовольное собственное сознание своей приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр Петрович состоял на линии жениха. Все платье было только что от портного, и все было хорошо, кроме разве того только, что все было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегольская, новехонькая, круглая шляпа об этой цели свидетельствовала: Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара сиреневых, [настоящих жувеневских перчаток](#) свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках для парада. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношеские. На нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек с розовыми полосками, и что всего лучше: все это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его, весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих сорока пяти лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон, в виде двух котлет, и весьма красиво сгущались возле светловыбритого блиставшего подбородка. Даже волосы, впрочем чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельством ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец. Если же и было что-нибудь в этой довольно красивой и солидной физиономии действительно неприятное и отталкивающее, то происходило уж от других причин. Рассмотрев без церемонии г-на Лужина, Раскольников ядовито улыбнулся, снова опустился на подушку и стал по-прежнему глядеть в потолок.

Но господин Лужин скрепился и, кажется, решил не примечать до времени всех этих странностей.

— Жалею весьма и весьма, что нахожу вас в таком положении, — начал он снова, с усилием прерывая молчание. — Если б знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Но, знаете, хлопоты!.. Имею к тому же весьма важное дело по моей адвокатской части в сенате. Не упоминаю уже о тех заботах, которые и вы угадаете. Ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час...

Раскольников пошевелился и хотел было что-то сказать; лицо его выразило некоторое волнение. Петр Петрович приостановился, выждал, но так как ничего не последовало, то и продолжал:

— ...С часу на час. Приискал им на первый случай квартиру...

— Где? — слабо выговорил Раскольников.

— Весьма недалеко отсюда, дом Бакалеева...

— Это на Вознесенском, — перебил Разумихин, — там два этажа под номерами: купец Юшин содержит; бывал.

— Да, номера-с...

— Скверность ужаснейшая: грязь, вонь, да и подозрительное место; штуки случались; да и черт знает кто не живет!.. Я и сам-то заходил по скандальному случаю. Дешево, впрочем.

— Я, конечно, не мог собрать столько сведений, так как и сам человек новый, — щекотливо возразил Петр Петрович, — но, впрочем, две весьма и весьма чистенькие

комнатки, а так как это на весьма короткий срок... Я приискал уже настоящую, то есть будущую нашу квартиру, — оборотился он к Раскольникову, — и теперь ее отделявают; а покамест и сам теснюсь в номерах, два шага отсюда, у госпожи Липпехель, в квартире одного моего молодого друга, Андрея Семеныча Лебезятникова; он-то мне и дом Бакалеева указал...

— Лебезятникова? — медленно проговорил Раскольников, как бы что-то припоминая.

— Да, Андрей Семеныч Лебезятников, служащий в министерстве. Извольте знать?

— Да... нет... — ответил Раскольников.

— Извините, мне так показалось по вашему вопросу. Я был когда-то опекуном его... очень милый молодой человек... и следящий... Я же рад встречать молодежь: по ней узнаешь, что нового. — Петр Петрович с надеждой оглядел всех присутствующих.

— Это в каком отношении? — спросил Разумихин.

— В самом серьезном, так сказать, в самой сущности дела, — подхватил Петр Петрович, как бы обрадовавшись вопросу. — Я, видите ли, уже десять лет не посещал Петербурга. Все эти наши новости, реформы, идеи — все это и до нас прикоснулось в провинции; но чтобы видеть яснее и видеть все, надобно быть в Петербурге. Ну-с, а моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. И признаюсь: порадовался...

— Чему именно?

— Вопрос ваш обширен. Могу ошибаться, но, кажется мне, нахожу более ясный взгляд, более, так сказать, критики: более деловитости...

— Это правда, — процедил Зосимов.

— Врешь ты, деловитости нет, — вцепился Разумихин. — Деловитость приобретается трудно, а с неба даром не слетает. А мы чуть не двести лет как от всякого дела отучены... Идеи-то, пожалуй, и бродят, — обратился он к Петру Петровичу, — и желание добра есть, хоть и детское; и честность даже найдется, несмотря на то, что тут видимо-невидимо привалило мошенников, а деловитости все-таки нет! Деловитость в сапогах ходит.

— Не соглашусь с вами, — с видимым наслаждением возразил Петр Петрович, — конечно, есть увлечения, неправильности, но надо быть и снисходительным: увлечения свидетельствуют о горячности к делу и о той неправильной внешней обстановке, в которой находится дело. Если же сделано мало, то ведь и времени было немного. О средствах и не говорю. По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и сделано: распространены новые, полезные мысли, распространены некоторые новые, полезные сочинения, вместо прежних мечтательных и романтических; литература принимает более здравый оттенок; искоренено и осмеяно много вредных предубеждений... Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего, а это, по моему, уж дело-с...

— Затвердил! Рекомендуются, — произнес вдруг Раскольников.

— Что-с? — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа.

— Это все справедливо, — поспешил вставить Зосимов.

— Не правда ли-с? — продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на Зосимова. — Согласитесь сами, — продолжал он, обращаясь к Разумихину, но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства и чуть было не прибавил: «молодой человек», — что есть преуспеяние, или, как говорят теперь, прогресс, хотя бы во имя науки и экономической правды...

— Общее место!

— Нет, не общее место-с! Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби» и я возлюблял, то что из того выходило? — продолжал Петр Петрович, может быть, с излишнею поспешностью, — выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь

одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана, и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью, а, казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться...

— Извините, я тоже неостроумен, — резко перебил Разумихин, — а потому перестанемте. Я ведь и заговорил с целью, а то мне вся эта болтовня-себятешение, все эти неумолчные, непрерывные общие места и все то же да все то же до того в три года опротивели, что, ей-богу, краснею, когда и другие-то, не то что я, при мне говорят. Вы, разумеется, спешили отрекомендоваться в своих познаниях, это очень простительно, и я не осуждаю. Я же хотел только узнать теперь, кто вы такой, потому что, видите ли, к общему-то делу в последнее время прицепилось столько разных промышленников и до того исказили они все, к чему ни прикоснулись, в свой интерес, что решительно все дело испакостили. Ну-с, и довольно!

— Милостивый государь, — начал было г-н Лужин, коротясь с чрезвычайным достоинством, — не хотите ли вы, столь бесцеремонно, изъяснить, что и я...

— О, помилуйте, помилуйте... Мог ли я!.. Ну-с, и довольно! — отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к Зосимову.

Петр Петрович оказался настолько умен, чтобы тотчас же объяснению поверить. Он, впрочем, решил через две минуты уйти.

— Надеюсь, что начатое теперь знакомство наше, — обратился он к Раскольникову, — после вашего выздоровления и ввиду известных вам обстоятельств укрепитя еще более... Особенно желаю вам здоровья...

Раскольников даже головы не повернул. Петр Петрович начал вставать со стула.

— Убил непременно закладчик! — утвердительно говорил Зосимов.

— Непременно закладчик! — поддакнул Разумихин. — Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает...

— Закладчиков допрашивает? — громко спросил Раскольников.

— Да, а что?

— Ничего.

— Откуда он их берет? — спросил Зосимов.

— Иных Кох указал; других имена были на обертках вещей записаны, а иные и сами пришли, как прослышали...

— Ну, ловкая же и опытная, должно быть, каналья! Какая смелость! Какая решимость!

— Вот то-то и есть, что нет! — прервал Разумихин. — Это-то вас всех и сбивает с пути. А я говорю — неловкий, неопытный, и, наверно, это был первый шаг! Предположи расчет и ловкую каналью, и выйдет невероятно. Предположи же неопытного, и выйдет, что один только случай его из беды и вынес, а случай чего не делает? Помилуй, да он и препятствий-то, может быть, не предвидел! А как дело ведет? — берет десяти-двадцатирублевые вещи, набивает ими карман, роется в бабьей укладке, в тряпье, — а в комод, в верхнем ящике, в шкатулке, одних чистых денег на полторы тысячи нашли, кроме билетов! И ограбить-то не умел, только и сумел, что убить! Первый шаг, говорю тебе, первый шаг; потерялся! И не расчетом, а случаем вывернулся!

— Это, кажется, о недавнем убийстве старухи чиновницы, — вмешался, обращаясь к Зосимову, Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, но перед уходом пожелав бросить еще несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном впечатлении, и тщеславие перебороло благоразумие.

— Да. Вы слышали?

— Как же-с, в соседстве...

— В подробности знаете?

— Не могу сказать; но меня интересует при этом другое обстоятельство, так сказать, целый вопрос. Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе, в последние лет пять, увеличились; не говорю о повсеместных и непрерывных грабежах и пожарах; страннее всего то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются, и, так сказать, параллельно. Там, слышно, бывший студент на большой дороге почту разбил; там передовые, по общественному своему положению, люди фальшивые бумажки делают; там, в Москве, ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереей, — и в главных участниках один лектор всемирной истории; там убивают нашего секретаря за границей, по причине денежной и загадочной... И если теперь эта старуха-процентщица убита одним из общества более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей, то чем же объяснить эту с одной стороны распущенность цивилизованной части нашего общества?

— Перемен экономических много... — отозвался Зосимов.

— Чем объяснить? — прицепился Разумихин. — А вот именно закоренелую слишком неделовитостью и можно бы объяснить.

— То есть как это-с?

— А что отвечал в Москве вот лектор-то ваш на вопрос, зачем он билеты подделывал: «Все богатеют разными способами, так и мне поскорей захотелось разбогатеть». Точных слов не помню, но смысл, что на даровщинку, поскорей, без труда! На всем готовом привыкли жить, на чужих помочах ходить, жеваное есть. Ну, а пробил час великий, тут всяк и объявился, чем смотрит...

— Но, однако же, нравственность? И, так сказать, правила...

— Да об чем вы хлопчете? — неожиданно вмешался Раскольников. — По вашей же вышло теории!

— Как так по моей теории?

— А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать...

— Помилуйте! — вскричал Лужин.

— Нет, это не так! — отозвался Зосимов.

Раскольников лежал бледный, с вздрагивающей верхней губой и трудно дышал.

— На все есть мера, — высокомерно продолжал Лужин, — экономическая идея еще не есть приглашение к убийству, и если только предположить...

— А правда ль, что вы, — перебил вдруг опять Раскольников дрожащим от злобы голосом, в котором слышалась какая-то радость обиды, — правда ль, что вы сказали вашей невесте... в тот самый час, как от нее согласие получили, что всего больше рады тому... что она нищая... потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтоб потом над ней властвовать... и попрекать тем, что она вами облагодетельствована?..

— Милостивый государь! — злобно и раздражительно вскричал Лужин, весь вспыхнув и смешавшись, — милостивый государь... так исказить мысль! Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или, лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания, и я... подозреваю, кто... одним словом... эта стрела... одним словом, ваша мамаша... Она и без того показалась мне, при всех, впрочем, своих превосходных качествах, несколько восторженного и романтического оттенка в мыслях... Но я все-таки был в тысяче верстах от предположения, что она в таком извращенном фантазией виде могла понять и представить дело... И, наконец... наконец...

— А знаете что? — вскричал Раскольников, приподнимаясь на подушке и смотря на него в упор пронзительным, сверкающим взглядом, — знаете что?

— А что-с? — Лужин остановился и ждал с обиженным и вызывающим видом. Несколько секунд длилось молчание.

— А то, что если вы еще раз... осмелитесь упомянуть хоть одно слово... о моей матери... то я вас с лестницы кувыркком спущу!

— Что с тобой! — крикнул Разумихин.

— А, так вот оно что-с! — Лужин побледнел и закусил губу. — Слушайте, сударь, меня, — начал он с расстановкой и сдерживая себя всеми силами, но все-таки задыхаясь, — я еще давеча, с первого шагу, разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтоб узнать еще более. Много я бы мог простить больному и родственнику, но теперь... вам... никогда-с...

— Я не болен! — вскричал Раскольников.

— Тем паче-с...

— Убирайтесь к черту!

Но Лужин уже выходил сам, не докончив речи, пролезая снова между столом и стулом; Разумихин на этот раз встал, чтобы пропустить его. Не глядя ни на кого и даже не кивнув головой Зосимову, который давно уже кивал ему, чтоб он оставил в покое больного, Лужин вышел, приподняв из осторожности рядом с плечом свою шляпу, когда, принагнувшись, проходил в дверь. И даже в изгибе спины его как бы выразалось при этом случае, что он уносит с собой ужасное оскорбление.

— Можно ли, можно ли так? — говорил озадаченный Разумихин, качая головой.

— Оставьте, оставьте меня все! — в исступлении вскричал Раскольников. — Да оставите ли вы меня, наконец, мучители! Я вас не боюсь! Я никого, никого теперь не боюсь! Прочь от меня! Я один хочу быть, один, один, один!

— Пойдем, — сказал Зосимов, кивнув Разумихину.

— Помилуй, да разве можно его так оставлять.

— Пойдем! — настойчиво повторил Зосимов и вышел. Разумихин подумал и побежал догонять его.

— Хуже могло быть, если бы мы его не послушались, — сказал Зосимов уже на лестнице. — Раздражать невозможно...

— Что с ним?

— Если бы только толчок ему какой-нибудь благоприятный, вот бы чего! Давеча он был в силах... Знаешь, у него что-то есть на уме! Что-то неподвижное, тяготящее... Этого я очень боюсь; непременно!

— Да вот этот господин, может быть, Петр-то Петрович! По разговору видно, что он женится на его сестре и что Родя об этом, перед самой болезнью, письмо получил...

— Да; черт его принес теперь; может быть, расстроил все дело. А заметил ты, что он ко всему равнодушен, на все отмалчивается, кроме одного пункта, от которого из себя выходит: это убийство...

— Да, да! — подхватил Разумихин, — очень заметил! Интересуется, пугается. Это его в самый день болезни напугали, в конторе у надзирателя; в обморок упал.

— Ты мне это расскажи подробнее вечером, а я тебе кое-что потом скажу. Интересует он меня, очень! Через полчаса зайду наведаться... Воспаления, впрочем, не будет...

— Спасибо тебе! А я у Пашеньки тем временем подожду и буду наблюдать через Настасью...

Раскольников, оставшись один, с нетерпением и тоской поглядел на Настасью; но та еще медлила уходить.

— Чаю-то теперь выпьешь? — спросила она.

— После! Я спать хочу! Оставь меня...

Он судорожно отвернулся к стене; Настасья вышла.

VI

Но только что она вышла, он встал, заложил крючком дверь, развязал принесенный давеча Разумихиним и им же снова завязанный узел с платьем и стал одеваться. Странное

дело: казалось, он вдруг стал совершенно спокоен; не было ни полоумного бреда, как давеча, ни панического страха, как во все последнее время. Это была первая минута какого-то странного, внезапного спокойствия. Движения его были точны и ясны, в них проглядывало твердое намерение. «Сегодня же, сегодня же!..» — бормотал он про себя. Он понимал, однако, что еще слаб, но сильнейшее душевное напряжение, дошедшее до спокойствия, до неподвижной идеи, придавало ему сил и самоуверенности; он, впрочем, надеялся, что не упадет на улице. Одевшись совсем во все новое, он взглянул на деньги, лежавшие на столе, подумал и положил их в карман. Денег было двадцать пять рублей. Взял тоже и все медные пятаки, сдачу с десяти рублей, истраченных Разумихиным на платье. Затем тихо снял крючок, вышел из комнаты, спустился по лестнице и заглянул в отворенную настежь кухню: Настасья стояла к нему задом и, нагнувшись, раздувала хозяйкин самовар. Она ничего не слыхала. Да и кто мог предположить, что он уйдет? Через минуту он был уже на улице.

Было часов восемь, солнце заходило. Духота стояла прежняя; но с жадностьюдохнул он этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха. Голова его слегка было начала кружиться; какая-то дикая энергия заблестала вдруг в его воспаленных глазах и в его исхудалом бледно-желтом лице. Он не знал, да и не думал о том, куда идти; он знал одно: «что все *это* надо кончить сегодня же, за один раз, сейчас же; что домой он иначе не воротится, потому что *не хочет так жить*». Как кончить? Чем кончить? Об этом он не имел и понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль: мысль терзала его. Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы все переменялось, так или этак, «хоть как бы то ни было», повторял он с отчаянною, неподвижною самоуверенностью и решимостью.

По старой привычке, обыкновенным путем своих прежних прогулок, он прямо направился на Сенную. Не доходя Сенной, на мостовой, перед [мелочною лавкой](#) стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он сопровождал стоявшей впереди его на тротуаре девушке, лет пятнадцати, одетой как барышня, в кринолине, в мантильке, в перчатках и в соломенной шляпке с огненного цвета пером; все это было старое и истасканное. Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и сильным голосом она выпевала романс, в ожидании двухкопеечника из лавочки. Раскольников приостановился рядом с двумя-тремя слушателями, послушал, вынул пятак и положил в руку девушке. Та вдруг пресекла пение на самой чувствительной и высокой нотке, точно отрезала, резко крикнула шарманщику: «будет!», и оба поплелись дальше, к следующей лавочке.

— Любите вы уличное пение? — обратился вдруг Раскольников к одному, уже немолодому, прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид [фланера](#). Тот дико посмотрел и удивился. — Я люблю, — продолжал Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил, — я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветра, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают...

— Не знаю-с... Извините... — пробормотал господин, испуганный и вопросом, и странным видом Раскольникова, и перешел на другую сторону улицы.

Раскольников пошел прямо и вышел к тому углу на Сенной, где торговали мещанин и баба, разговаривавшие тогда с Лизаветой; но их теперь не было. Узнав место, он остановился, огляделся и обратился к молодому парню в красной рубахе, зевавшему у входа в мучной лабаз.

— Это мещанин ведь торгует тут на углу, с бабой, с женой, а?

— Всякие торгуют, — ответил парень, свысока обмеривая Раскольникова.

— Как его зовут?

— Как крестили, так и зовут.

— Уж и ты не зарайский ли? Которой губернии?

Парень снова посмотрел на Раскольникова.

— У нас, ваше сиятельство, не губерния, а уезд, а ездил-то брат, а я дома сидел, так и не знаю-с... Уж простите, ваше сиятельство, великодушно.

— Это харчевня, наверху-то?

— Это трахир, и бильярд имеется; и принцессы найдутся... Люли!

Раскольников перешел через площадь. Там, на углу, стояла густая толпа народа, все мужиков. Он залез в самую густоту, заглядывая в лица. Его почему-то тянуло со всеми заговаривать. Но мужики не обращали внимания на него и все что-то галдели про себя, сбиваясь кучками. Он постоял, подумал и [пошел направо, тротуаром, по направлению к В—му. Миновав площадь, он попал в переулок...](#)

Он и прежде проходил часто этим коротеньким переулком, делающим колено и ведущим с площади в Садовую. В последнее время его даже тянуло шляться по всем этим местам, когда тошно становилось, «чтоб еще тошней было». Теперь же он вошел, ни о чем не думая. Тут есть большой дом, весь под распивочными и прочими съестно-выпивательными заведениями; из них поминутно выбегали женщины, одетые, как ходят «по соседству» — простоволосые и в одних платьях. В двух-трех местах они толпились на тротуаре группами, преимущественно у сходов в нижний этаж, куда, по двум ступенькам, можно было спускаться в разные весьма увеселительные заведения. В одном из них в эту минуту шел стук и гам на всю улицу, тренькала гитара, пели песни, и было очень весело. Большая группа женщин толпилась у входа; иные сидели на ступеньках, другие на тротуаре, третьи стояли и разговаривали. Подле, на мостовой, шлялся, громко ругаясь, пьяный солдат с папироской и, казалось, куда-то хотел войти, но как будто забыл куда. Один оборванец ругался с другим оборванцем, и какой-то мертво-пьяный валялся поперек улицы. Раскольников остановился у большой группы женщин. Они разговаривали сиплыми голосами; все были в ситцевых платьях, в козловых башмаках и простоволосые. Иным было лет за сорок, но были и лет по семнадцати, почти все с глазами подбитыми.

Его почему-то занимало пенье и весь этот стук и гам, там, внизу... Оттуда слышно было, как, среди хохота и взвизгов, под тоненькую фистулу разудалого напева и под гитару, кто-то отчаянно отплясывал, выбивая такт каблуками. Он пристально, мрачно и задумчиво слушал, нагнувшись у входа и любопытно заглядывая с тротуара в сени.

Ты мой [бутошник](#) прекрасной,
Ты не бей меня напрасно! —

разливался тоненький голос певца. Раскольникову ужасно захотелось расслушать, что поют, точно в этом и было все дело.

«Не зайти ли? — подумал он. — Хохочут! Спьяну. А что ж, не напиться ли пьяным?»

— Не зайдете, милый барин? — спросила одна из женщин довольно звонким и не совсем еще осипшим голосом. Она была молода и даже не отвратительна — одна из всей группы.

— Вишь, хорошенькая! — отвечал он, приподнявшись и поглядев на нее.

Она улыбнулась; комплимент ей очень понравился.

— Вы и сами прехорошенькие, — сказала она.

— Какие худые! — заметила басом другая, — из больницы, что ль, выписались?

— Кажись, и генеральские дочки, а носы все курносые! — перебил вдруг подошедший мужик, навеселе, в армяке нараспашку и с хитро смеющеюся харей. — Вишь, веселье!

— Проходи, коль пришел!

— Пройду! Сласть!

И он кувыркнулся вниз.

Раскольников тронулся дальше.

— Послушайте, барин! — крикнула вслед девица.

— Что?

Она законфузилась.

— Я, милый барин, всегда с вами рада буду часы разделить, а теперь вот как-то совести при вас не соберу. Подарите мне, приятный кавалер, шесть копеек на выпивку! Раскольников вынул сколько вынулось: три пятака.

— Ах, какой добреющий барин!

— Как тебя зовут?

— А Дуклиду спросите.

— Нет уж, это что же, — вдруг заметила одна из группы, качая головой на Дуклиду. — Это уж я и не знаю, как это так просить! Я бы, кажется, от одной только совести провалилась...

Раскольников любопытно поглядел на говорившую. Это была рябая девка, лет тридцати, вся в синяках, с припухшею верхнею губой. Говорила и осуждала она спокойно и серьезно.

«Где это, — подумал Раскольников, идя далее, — где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить, — только жить!.. Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек! И подлец тот, кто его за это подлецом называет», — прибавил он через минуту.

Он вышел в другую улицу. «Ба! „Хрустальный дворец“! Давеча Разумихин говорил про „Хрустальный дворец“. Только, чего бишь я хотел-то? Да, прочесть!.. Зосимов говорил, что в газетах читал...»

— Газеты есть? — спросил он, входя в весьма просторное и даже опрятное трактирное заведение о нескольких комнатах, впрочем довольно пустых. Два-три посетителя пили чай, да в одной дальней комнате сидела группа, человека в четыре, и пили шампанское. Раскольникову показалось, что между ними Заметов. Впрочем, издали нельзя было хорошо рассмотреть.

«А пусть!» — подумал он.

— Водки прикажете-с? — спросил половой.

— Чаю подай. Да принеси ты мне газет, старых, этак дней за пять сряду, а я тебе на водку дам.

— Слушаю-с. Вот сегодняшние-с. И водки прикажете-с?

Старые газеты и чай явились. Раскольников уселся и стал отыскивать: «[Излер](#) — Излер — Ацтеки — Ацтеки — Излер — Бартола — Массимо — Ацтеки — Излер... фу черт! а, вот отметки: провалилась с лестницы — мешанин сгорел с вина — пожар на Песках — пожар на Петербургской — еще пожар на Петербургской — еще пожар на [Петербургской](#) — Излер — Излер — Излер — Излер — Массимо... А, вот...»

Он отыскал, наконец, то, чего добивался, и стал читать; строки прыгали в его глазах, он, однако ж, дочел все «известие» и жадно принялся отыскивать в следующих номерах позднейшие прибавления. Руки его дрожали, перебирая листы, от судорожного нетерпения. Вдруг кто-то сел подле него, за его столом. Он заглянул — Заметов, тот же самый Заметов и в том же виде, с перстнями, с цепочками, с пробором в черных вьющихся и напомаженных волосах, в щегольском жилете и в несколько потертom сюртуке и несвежем белье. Он был весел, по крайней мере, очень весело и добродушно улыбался. Смуглое лицо его немного разгорелось от выпитого шампанского.

— Как! Вы здесь? — начал он с недоумением и таким тоном, как бы век был знаком, — а мне вчера еще говорил Разумихин, что вы все не в памяти. Вот странно! А ведь я был у вас...

Раскольников знал, что он подойдет. Он отложил газеты и повернулся к Заметову. На его губах была усмешка, и какое-то новое раздражительное нетерпение проглядывало в этой усмешке.

— Это я знаю, что вы были, — отвечал он, — слышал-с. Носок отыскивали... А знаете, Разумихин от вас без ума, говорит, что вы с ним к Лавизе Ивановне ходили, вот про которую вы старались тогда, поручику-то Пороху мигали, а он все не понимал, помните? Уж как бы, кажется, не понять — дело ясное... а?

— А уж какой он буян!

— Порох-то?

— Нет, приятель ваш, Разумихин...

— А хорошо вам жить, господин Заметов; в приятнейшие места вход беспошлинный! Кто это вас сейчас шампанским-то наливал?

— А это мы... выпили... Уж и наливал?!

— **Гонорарий!** Всем пользуетесь! — Раскольников засмеялся. — Ничего, добреющий мальчик, ничего! — прибавил он, стукнув Заметова по плечу, — я ведь не назло, «а по всей то есть любви, играючи», говорю, вот как работник-то ваш говорил, когда он Митьку тузил, вот, по старухиному-то делу.

— А вы почему знаете?

— Да я, может, больше вашего знаю.

— Чтой-то какой вы странный... Верно, еще очень больны. Напрасно вышли...

— А я вам странным кажусь?

— Да. Что это вы, газеты читаете?

— Газеты.

— Много про пожары пишут.

— Нет, я не про пожары. — Тут он загадочно посмотрел на Заметова; насмешливая улыбка опять искривила его губы. — Нет, я не про пожары, — продолжал он, подмигивая Заметову. — А сознайтесь, милый юноша, что вам ужасно хочется знать, про что я читал?

— Вовсе не хочется; я так спросил. Разве нельзя спросить? Что вы всё...

— Послушайте, вы человек образованный, литературный, а?

— Я из шестого класса гимназии, — отвечал Заметов с некоторым достоинством.

— Из шестого! Ах ты, мой воробушек! С прибором, в перстнях — богатый человек! Фу, какой миленький мальчик! — Тут Раскольников залился нервным смехом, прямо в лицо Заметову. Тот отшатнулся, и не то чтоб обиделся, а уж очень удивился.

— Фу, какой странный! — повторил Заметов очень серьезно. — Мне сдается, что вы все еще бредите.

— Брежу? Врешь, воробушек!.. Так я странен? Ну, а любопытен я вам, а? Любопытен?

— Любопытен.

— Так сказать, про что я читал, что разыскивал? Ишь ведь сколько номеров велел натащить! Подозрительно, а?

— Ну, скажите.

— Ушки на макушке?

— Какая еще там макушка?

— После скажу, какая макушка, а теперь, мой милейший, объявляю вам... нет, лучше: «сознаюсь»... Нет, и это не то: «показание даю, а вы снимаете» — вот как! Так даю показание, что читал, интересовался... отыскивал... разыскивал... — Раскольников прищурил глаза и выждал, — разыскивал — и для того и зашел сюда, — об убийстве старухи чиновницы, — произнес он, наконец, почти шепотом, чрезвычайно приблизив свое лицо к лицу Заметова. Заметов смотрел на него прямо в упор, не шевелясь и не отодвигая своего лица от его лица. Страннее всего показалось потом Заметову, что ровно целую минуту длилось у них молчание и ровно целую минуту они так друг на друга глядели.

— Ну что ж, что читали? — вскричал он вдруг в недоумении и в нетерпении. — Мне-то какое дело! Что ж в том?

— Это вот та самая старуха, — продолжал Раскольников, тем же шепотом и не шевельнувшись от восклицания Заметова, — та самая, про которую, помните, когда стали

в конторе рассказывать, а я в обморок-то упал. Что, теперь понимаете?

— Да что такое? Что... «понимаете»? — произнес Заметов почти в тревоге.

Неподвижное и серьезное лицо Раскольниково преобразилось в одно мгновение, и вдруг он залился опять тем же нервным хохотом, как давеча, как будто сам совершенно не в силах был сдержаться. И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущения одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью, с топором, запор прыгал, они за дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать!

— Вы или сумасшедший, или... — проговорил Заметов — и остановился, как будто вдруг пораженный мыслью, внезапно промелькнувшею в уме его.

— Или? Что «или»? Ну, что? Ну, скажите-ка!

— Ничего! — в сердцах отвечал Заметов, — все вздор!

Оба замолчали. После внезапного, припадочного взрыва смеха Раскольников стал вдруг задумчив и грустен. Он облокотился на стол и подпер рукой голову. Казалось, он совершенно забыл про Заметова. Молчание длилось довольно долго.

— Что вы чай-то не пьете? Остынет, — сказал Заметов.

— А? Что? Чай?.. Пожалуй... — Раскольников глотнул из стакана, положил в рот кусочек хлеба и вдруг, посмотрев на Заметова, казалось, все припомнил и как будто встряхнулся: лицо его приняло в ту же минуту первоначальное насмешливое выражение. Он продолжал пить чай.

— Нынче много этих мошенничеств развелось, — сказал Заметов. — Вот недавно еще я читал в «Московских ведомостях», что в Москве целую шайку фальшивых монетчиков изловили. Целое общество было. Подделывали билеты.

— О, это уже давно! Я еще месяц назад читал, — отвечал спокойно Раскольников. — Так это-то, по-вашему, мошенники? — прибавил он, усмехаясь.

— Как же не мошенники?

— Это? Это дети, бланбеки³, а не мошенники! Целая полсотня людей для этой цели собирается! Разве это возможно? Тут и трех много будет, да и то чтобы друг в друге каждый пуще себя самого был уверен! А то стоит одному спяну проболтаться, и все прахом пошло! Бланбеки! Нанимают ненадежных людей разменивать билеты в конторах; этакое-то дело да поверить первому встречному? Ну, положим, удалось и с бланбеками, положим, каждый себе по миллиону наменял, ну, а потом? Всю-то жизнь? Каждый один от другого зависит на всю свою жизнь! Да лучше удавиться! А они и разменять-то не умели: стал в конторе менять, получил пять тысяч, и руки дрогнули. Четыре пересчитал, а пятую принял не считая, на веру, чтобы только в карман да убежать поскорее. Ну, и возбудил подозрение. И лопнуло все из-за одного дурака! Да разве этак возможно?

— Что руки-то дрогнули? — подхватил Заметов, — нет, это возможно-с. Нет, это я совершенно уверен, что это возможно. Иной раз не выдержишь.

— Этого-то?

— А вы небось выдержите? Нет, я бы не выдержал! За сто рублей награждения идти на этакый ужас! Идти с фальшивым билетом — куда же? — в банкирскую контору, где на этом собаку съели, — нет, я бы сконфузился. А вы не сконфузьтесь?

Раскольникову ужасно вдруг захотелось опять «язык высунуть». Озноб минутами проходил по спине его.

— Я бы не так сделал, — начал он издалека. — Я бы вот как стал менять: пересчитал бы первую тысячу, этак раза четыре со всех концов, в каждую бумажку всматриваясь, и принялся бы за другую тысячу; начал бы ее считать, досчитал бы до середины, да и вынул бы какую-нибудь пятидесятирублевую, да на свет, да перевернул бы ее и опять на свет — не фальшивая ли? «Я, дескать, боюсь: у меня родственница одна двадцать пять рублей таким образом наемдни потеряла»; и историю бы тут рассказал. А как стал бы третью тысячу считать — нет, позвольте: я, кажется, там, во второй тысяче, седьмую сотню неверно сосчитал, сомнение берет, да бросил бы третью, да опять за вторую, — да

эдак бы все-то пять. А как кончил бы, из пятой да из второй вынул бы по кредитке, да опять на свет, да опять сомнительно, «перемените, пожалуйста», — да до седьмого поту конторщика бы довел, так что он меня как и с рук-то сбывать уж не знал бы! Кончил бы все наконец, пошел, двери бы отворил — да нет, извините, опять воротился, спросить о чем-нибудь, объяснение какое-нибудь получить, — вот я бы как сделал!

— Фу, какие вы страшные вещи говорите! — сказал, смеясь, Заметов. — Только все это один разговор, а на деле, наверно, споткнулись бы. Тут, я вам скажу, по-моему, не только нам с вами, даже натертому, отчаянному человеку за себя поручиться нельзя. Да чего ходить — вот пример: в нашей-то части старуху-то убили. Ведь уж, кажется, отчаянная башка, среди бела дня на все риски рискнул, одним чудом спасся, — а руки-то все-таки дрогнули: обокрасть не сумел, не выдержал; по делу видно...

Раскольников как будто обиделся.

— Видно! А вот поймайте-ка его, подите, теперь! — вскрикнул он, злорадно подзадоривая Заметова.

— Что ж, и поймают.

— Кто? Вы? Вам поймать? Упрыгаетесь! Вот ведь что у вас главное: тратит ли человек деньги или нет? То денег не было, а тут вдруг тратить начнет, — ну как же не он? Так вас вот этакий ребенок надует на этом, коли захочет!

— То-то и есть, что они все так делают, — отвечал Заметов, — убьет-то хитро, жизнь отваживает, а потом тотчас в кабаке и попался. На трате-то их и ловят. Не всё же такие, как вы, хитрецы. Вы бы в кабак не пошли, разумеется?

Раскольников нахмурил брови и пристально посмотрел на Заметова.

— Вы, кажется, разлакомились и хотите узнать, как бы я и тут поступил? — спросил он с неудовольствием.

— Хотелось бы, — твердо и серьезно ответил тот. Слишком что-то серьезно стал он говорить и смотреть.

— Очень?

— Очень.

— Хорошо. Я вот бы как поступил, — начал Раскольников, опять вдруг приближая свое лицо к лицу Заметова, опять в упор смотря на него и говоря опять шепотом, так что тот даже вздрогнул на этот раз. — Я бы вот как сделал: я бы взял деньги и вещи и, как ушел бы оттуда, тотчас, не заходя никуда, пошел бы куда-нибудь, где место глухое и только заборы одни, и почти нет никого, — огород какой-нибудь или в этом роде. Наглядел бы я там еще прежде, на этом дворе, какой-нибудь такой камень этак в пуд или полтора весу, где-нибудь в углу, у забора, что с построения дома, может, лежит; приподнял бы этот камень — под ним ямка должна быть, — да в ямку-то эту все бы вещи и деньги и сложил. Сложил бы, да и навалил бы камнем, в том виде, как он прежде лежал, придавил бы ногой, да и пошел бы прочь. Да год бы, два бы не брал, три бы не брал, — ну, и ищите! Был, да весь вышел!

— Вы сумасшедший, — выговорил почему-то Заметов тоже чуть не шепотом и почему-то отодвинулся вдруг от Раскольникова. У того засверкали глаза; он ужасно побледнел; верхняя губа его дрогнула и запрыгала. Он склонился к Заметову как можно ближе и стал шевелить губами, ничего не произнося; так длилось с полминуты; он знал, что делал, но не мог сдержать себя. Страшное слово, как тогдашний запор в дверях, так и прыгало на его губах: вот-вот сорвется; вот-вот только спустить его, вот-вот только выговорить!

— А что, если это я старуху и Лизавету убил? — проговорил он вдруг и — опомнился. Заметов дико поглядел на него и побледнел, как скатерть. Лицо его искривилось улыбкой.

— Да разве это возможно? — проговорил он едва слышно.

Раскольников злобно взглянул на него.

— Признайтесь, что вы поверили? Да? Ведь да?

— Совсем нет! Теперь больше, чем когда-нибудь, не верю! — торопливо сказал Заметов.

— Попался наконец! Поймали воробушка. Стало быть, верили же прежде, когда теперь «больше, чем когда-нибудь, не верите»?

— Да совсем же нет! — восклицал Заметов, видимо сконфуженный. — Это вы для того-то и пугали меня, чтоб к этому подвести?

— Так не верите? А об чем вы без меня заговорили, когда я тогда из конторы вышел? А зачем меня поручик Порох допрашивал после обморока? Эй ты, — крикнул он половому, вставая и взяв фуражку, — сколько с меня?

— Тридцать копеек всего-с, — отвечал тот, подбегая.

— Да вот тебе еще двадцать копеек на водку. Ишь сколько денег! — протянул он Заметову свою дрожащую руку с кредитками, — красненькие, синенькие, двадцать пять рублей. Откудова? А откудова платье новое явилось? Ведь знаете же, что копейки не было! Хозяйку-то небось уж опрашивали... Ну, довольно! *Assez causé!*⁴ До свидания... приятнейшего!..

Он вышел, весь дрожа от какого-то дикого истерического ощущения, в котором между тем была часть нестерпимого наслаждения, — впрочем, мрачный, ужасно усталый. Лицо его было искривлено, как бы после какого-то припадка. Утомление его быстро увеличивалось. Силы его возбуждались и приходили теперь вдруг, с первым толчком, с первым раздражающим ощущением, и также быстро ослабевали, по мере того как ослабевало ощущение.

А Заметов, оставшись один, сидел еще долго на том же месте, в раздумье. Раскольников невзначай перевернул все его мысли, насчет известного пункта, и окончательно установил его мнение.

«Илья Петрович — болван!» — решил он окончательно.

Только что Раскольников отворил дверь на улицу, как вдруг, на самом крыльце, столкнулся с входившим Разумихиным. Оба, даже за шаг еще, не видали друг друга, так что почти головами столкнулись. Несколько времени обмеривали они один другого взглядом. Разумихин был в величайшем изумлении, но вдруг гнев, настоящий гнев, грозно засверкал в его глазах.

— Так вот ты где! — крикнул он во все горло. — С постели сбежал! А я его там под диваном даже искал! На чердак ведь ходили! Настасью чуть не прибил за тебя... А он вон где! Родька! Что это значит? Говори всю правду! Признавайся! Слышишь?

— А то значит, что вы все надоели мне смертельно, и я хочу быть один, — спокойно отвечал Раскольников.

— Один? Когда еще ходить не можешь, когда еще рожа как полотно бледна, и задыхаешься! Дурак!.. Что ты в «Хрустальном дворце» делал? Признавайся немедленно!

— Пусти! — сказал Раскольников и хотел пройти мимо. Это уж вывело Разумихина из себя: он крепко схватил его за плечо.

— Пусти? Ты смеешь говорить: «пусти?» Да знаешь ли, что я сейчас с тобой сделаю? Возьму в охапку, завяжу узлом да и отнесу под мышкой домой, под замок!

— Слушай, Разумихин, — начал тихо и, по-видимому, совершенно спокойно Раскольников, — неужель ты не видишь, что я не хочу твоих благодеяний? И что за охота благодетельствовать тем, которые... плюют на это? Тем, наконец, которым это серьезно тяжело выносить? Ну для чего ты отыскал меня в начале болезни? Я, может быть, очень был бы рад умереть! Ну, неужели я недостаточно выказал тебе сегодня, что ты меня мучаешь, что ты мне... надоел! Охота же в самом деле мучить людей! Уверяю же тебя, что все это мешает моему выздоровлению серьезно, потому что непрерывно раздражает меня. Ведь ушел же давеча Зосимов, чтобы не раздражать меня. Отстань же, ради бога, и ты! И какое право, наконец, имеешь ты удерживать меня силой? Да неужель ты не видишь, что я совершенно в полном уме теперь говорю? Чем, чем, научи, умолишь мне тебя, наконец, чтобы ты не приставал ко мне и не благодетельствовал? Пусть я

неблагодарен, пусть я низок, только отстаньте вы все, ради бога, отстаньте! Отстаньте! Отстаньте!

Он начал спокойно, заранее радуясь всему яду, который готовился вылить, а кончил в исступлении и задыхаясь, как давеча с Лужиным.

Разумихин постоял, подумал и выпустил его руку.

— Убирайся же к черту! — сказал он тихо и почти задумчиво. — Стой! — заревел он внезапно, когда Раскольников тронулся было с места, — слушай меня. Объявляю тебе, что все вы, до единого, — болтунишки и фанфаронишки! Заведется у вас страданица — вы с ним как курица с яйцом носитесь! Даже и тут воруете чужих авторов. Ни признака жизни в вас самостоятельной! Из спермацетной мази вы сделаны, а вместо крови сыворотка! Никому-то из вас я не верю! Первое дело у вас, во всех обстоятельствах — как бы на человека не походить! Сто-о-ой! — крикнул он с удвоенным бешенством, заметив, что Раскольников опять трогается уходить, — слушай до конца! Ты знаешь, у меня сегодня собираются на новоселье, может быть, уж и пришли теперь, да я там дядю оставил, — забегал сейчас, — принимать приходящих. Так вот если бы ты не был дурак, не пошлый дурак, не набитый дурак, не перевод с иностранного... видишь, Родя, я признаюсь, ты малый умный, но ты дурак! — так вот, если б ты не был дураком, ты бы лучше ко мне зашел сегодня, вечерок посидеть, чем даром-то сапоги топтать. Уж вышел, так уже нечего делать! Я б тебе кресла такие мягкие подкатил, у хозяев есть... Чаишко, компания... А нет, — так и на кушетку уложу, — все-таки между нами полежишь... И Зосимов будет. Зайдешь, что ли?

— Нет.

— Вр-р-решь! — нетерпеливо вскрикнул Разумихин, — почему ты знаешь? Ты не можешь отвечать за себя! Да и ничего ты в этом не понимаешь... Я тысячу раз точно так же с людьми расплевывался и опять назад прибежал... Станет стыдно — и воротись к человеку! Так помни же, дом Починкова, третий этаж...

— Да ведь этак вы себя, пожалуй, кому-нибудь бить позволите, господин Разумихин, из удовольствия благодетельствовать.

— Кого? Меня! За одну фантазию нос отвинчу! Дом Починкова, номер сорок семь, в квартире чиновника Бабушкина...

— Не приду, Разумихин! — Раскольников повернулся и пошел прочь.

— Об заклад, что придешь! — крикнул ему вдогонку Разумихин. — Иначе ты... иначе знать тебя не хочу! Постой, гей! Заметов там?

— Там.

— Видел?

— Видел.

— И говорил?

— Говорил.

— Об чем? Ну да черт с тобой, пожалуй, не сказывай. Починкова, сорок семь, Бабушкина, помни!

Раскольников дошел до Садовой и повернул за угол. Разумихин смотрел ему вслед задумавшись. Наконец, махнув рукой, вошел в дом, но остановился на середине лестницы.

«Черт возьми! — продолжал он почти вслух, — говорит со смыслом, а как будто... Ведь и я дурак! Да разве помешанные не говорят со смыслом? А Зосимов-то, показалось мне, этого-то и побаивается! — Он стукнул пальцем по лбу. — Ну что, если... ну как его одного теперь пускать? Пожалуй, утопится... Эх, маху я дал! Нельзя!» И он побежал назад, вдогонку за Раскольниковым, но уж след простыл. Он плюнул и скорыми шагами воротился в «Хрустальный дворец» допросить поскорее Заметова.

Раскольников прошел прямо на —ский мост, стал на середине, у перил, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдоль. Простившись с Разумихиным, он до того ослабел, что едва добрался сюда. Ему захотелось где-нибудь сесть или лечь, на улице. Склонившись над водою, машинально смотрел он на последний розовый отблеск заката,

на ряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках, на одно отдаленное окошко, где-то в мансарде, по левой набережной, блиставшее, точно в пламени, от последнего солнечного луча, ударившего в него на мгновение, на темневшую воду канавы и, казалось, со вниманием всматривался в эту воду. Наконец в глазах его завертелись какие-то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи — все это завертелось и заплясало кругом. Вдруг он вздрогнул, может быть, спасенный вновь от обморока одним диким и безобразным видением. Он почувствовал, что кто-то стал подле него, справа, рядом; он взглянул — и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым, продолговатым, испытанным лицом и с красноватыми, впавшими глазами. Она глядела на него прямо, но, очевидно, ничего не видала и никого не различала. Вдруг она облокотилась правой рукой о перила, подняла правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую, и бросилась в канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла, и ее тихо понесло вниз по течению, головой и ногами в воде, спиной поверх, со сбившеюся и вспухшею над водой, как подушка, юбкой.

— Утопилась! Утопилась! — кричали десятки голосов; люди сбегались, обе набережные унизывались зрителями, на мосту, кругом Раскольников, столпился народ, напирая и придавливая его сзади.

— Батюшки, да ведь это наша Афросиньюшка! — послышался где-то недалеко плачевный женский крик. — Батюшки, спасите! Отцы родные, вытащите!

— Лодку! Лодку! — кричали в толпе.

Но лодки было уж не надо: городской сбегал по ступенькам схода к канаве, сбросил с себя шинель, сапоги и кинулся в воду. Работы было немного: утопленницу несло водой в двух шагах от схода, он схватил ее за одежду правой рукою, левою успел схватиться за шест, который протянул ему товарищ, и тотчас же утопленница была вытащена. Ее положили на гранитные плиты схода. Она очнулась скоро, приподнялась, села, стала чихать и фыркать, бессмысленно обтирая мокрое платье руками. Она ничего не говорила.

— До чертиков допилась, батюшки, до чертиков, — выл тот же женский голос, уже подле Афросиньюшки, — [анамнясь](#) удавиться тоже хотела, с веревки сняли. Пошла я теперь в лавочку, девчоночку при ней глядеть оставила, — ан вот и грех вышел! Мещаночка, батюшка, наша мещаночка, подле живет, второй дом с краю, вот тут...

Народ расходился, полицейские возились еще с утопленницей, кто-то крикнул про контору... Раскольников смотрел на все с странным ощущением равнодушия и безучастия. Ему стало противно. «Нет, гадко... вода... не стоит, — бормотал он про себя. — Ничего не будет, — прибавил он, — нечего ждать. Что это, контора... А зачем Заметов не в конторе? Контора в десятом часу отперта...» Он оборотился спиной к перилам и поглядел кругом себя.

«Ну так что ж! И пожалуй!» — проговорил он решительно, двинулся с моста и направился в ту сторону, где была контора. Сердце его было пусто и глухо. Мыслить он не хотел. Даже тоска прошла, ни следа давешней энергии, когда он из дому вышел, с тем «чтобы все кончить!». Полная апатия заступила ее место.

«Что ж, это исход! — думал он, тихо и вяло идя по набережной канавы. — Все-таки кончу, потому что хочу... Исход ли, однако? А все равно! Аршин пространства будет, — хе! Какой, однако же, конец! Неужели конец? Скажу я им иль не скажу? Э... черт! Да и устал я: где-нибудь лечь или сесть бы поскорей! Всего стыднее, что очень уж глупо. Да наплевать и на это. Фу, какие глупости в голову приходят...»

В контору надо было идти все прямо и при втором повороте взять влево: она была тут в двух шагах. Но, дойдя до первого поворота, он остановился, подумал, поворотил в переулок и пошел обходом, через две улицы, — может быть, безо всякой цели, а может быть, чтобы хоть минуту еще протянуть и выиграть время. Он шел и смотрел в землю. Вдруг как будто кто шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидал, что стоит у *того* дома, у самых ворот. С *того* вечера он здесь не был и мимо не проходил.

Неотразимое и необъяснимое желание повлекло его. Он вошел в дом, прошел всю

подворотню, потом в первый вход справа и стал подниматься по знакомой лестнице, в четвертый этаж. На узенькой и крутой лестнице было очень темно. Он останавливался на каждой площадке и осматривался с любопытством. На площадке первого этажа в окне была совсем выставлена рама. «Этого тогда не было», — подумал он. Вот и квартира второго этажа, где работали Николашка и Митька. «Заперта; и дверь окрашена заново; отдается, значит, внаем». Вот и третий этаж... и четвертый... «Здесь!» Недоумение взяло его: дверь в эту квартиру была отворена настежь, там были люди, слышны были голоса; он этого никак не ожидал. Поколебавшись немного, он поднялся по последним ступенькам и вошел в квартиру.

Ее тоже отделывали заново; в ней были работники; это его как будто поразило. Ему представлялось почему-то, что он все встретит точно так же, как оставил тогда, даже, может быть, трупы на тех же местах на полу. А теперь: голые стены, никакой мебели; странно как-то! Он прошел к окну и сел на подоконник.

Всего было двое работников, оба молодые парни, один постарше, а другой гораздо моложе. Они оклеивали стены новыми обоями, белыми с лиловыми цветочками, вместо прежних желтых, истрепанных и истасканных. Раскольникову это почему-то ужасно не понравилось; он смотрел на эти новые обои враждебно, точно жаль было, что все так изменили.

Работники, очевидно, замешкались и теперь наскоро свертывали свою бумагу и собирались домой. Появление Раскольникова почти не обратило на себя их внимания. Они о чем-то разговаривали. Раскольников скрестил руки и стал вслушиваться.

— Приходит она, этта, ко мне поутру, — говорил старший младшему, — раним-ранешенько, вся разодетая. «И что ты, говорю, передо мной лимонничаешь, чего ты передо мной, говорю, апельсинничаешь?» — «Я хочу, говорит, Тит Васильевич, отныне, впредь в полной вашей воле состоять». Так вот оно как! А уж как разодета: журнал, просто журнал!

— А что это, дядьшка, журнал? — спросил молодой. Он, очевидно, поучался у «дядьшки».

— А журнал, это есть, братец ты мой, такие картинки, крашенные, и идут они сюда к здешним портным каждую субботу, по почте, из-за границы, с тем то есть, как кому одеваться, как мужскому, равномерно и женскому полу. Рисунок, значит. Мужской пол все больше в [бекешах](#) пишется, а уж по женскому отделению такие, брат, [суфлеры](#), что отдай ты мне все, да и мало!

— И чего-чего в ефтом Питере нет! — с увлечением крикнул младший, — окромя отца-матери, всё есть!

— Окромя ефтова, братец ты мой, все находится, — наставительно порешил старший.

Раскольников встал и пошел в другую комнату, где прежде стояли укладка, постель и комод; комната показалась ему ужасно маленькою без мебели. Обои были все те же; в углу на обоях резко обозначено было место, где стоял киот с образами. Он поглядел и воротился на свое окошко. Старший работник искоса приглядывался.

— Вам чего-с? — спросил он вдруг, обращаясь к нему.

Вместо ответа Раскольников встал, вышел в сени, взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук! Он дернул второй, третий раз; он вслушивался и припоминал. Препрежнее, мучительно-страшное, безобразное ощущение начинало все ярче и живее припоминяться ему, он вздрагивал с каждым ударом, и ему все приятнее и приятнее становилось.

— Да что те надо? Кто таков? — крикнул работник, выходя к нему. Раскольников вошел опять в дверь.

— Квартиру хочу нанять, — сказал он, — осматриваю.

— Фатеру по ночам не нанимают; а к тому же вы должны с дворником прийти.

— Пол-то вымыли; красить будут? — продолжал Раскольников. — Крови-то нет?

— Какой крови?

— А старуху-то вот убили с сестрой. Тут целая лужа была.

— Да что ты за человек? — крикнул в беспокойстве работник.

— Я?

— Да.

— А тебе хочется знать?.. Пойдем в контору, там скажу.

Работники с недоумением посмотрели на него.

— Нам выходить пора-с, замешкали. Идем, Алешка. Запирать надо, — сказал старший работник.

— Ну пойдем! — сказал Раскольников равнодушно и вышел вперед, медленно спускаясь с лестницы. — Эй, дворник! — крикнул он, выходя под ворота.

Несколько людей стояло при самом входе в дом с улицы, глаза на прохожих: оба дворника, баба, мещанин в халате и еще кое-кто. Раскольников пошел прямо к ним.

— Чего вам? — отозвался один из дворников.

— В контору ходил?

— Сейчас был. Вам чего?

— Там сидят?

— Сидят.

— И помощник там?

— Был время. Чего вам?

Раскольников не отвечал и стал с ним рядом задумавшись.

— Фатеру смотреть приходил, — сказал, подходя, старший работник.

— Какую фатеру?

— А где работаем. «Зачем, дескать, кровь отмыли? Тут, говорит, убийство случилось, а я пришел нанимать». И в колокольчик стал звонить, мало не оборвал. А пойдем, говорит, в контору, там все докажу. Навязался.

Дворник с недоумением и нахмурясь разглядывал Раскольникова.

— Да вы кто таков? — крикнул он погрознее.

— Я Родион Романыч Раскольников, бывший студент, а живу в доме Шиля, здесь в переулке, отсюда недалеко, в квартире номер четырнадцать. У дворника спроси... меня знает. — Раскольников проговорил все это как-то лениво и задумчиво, не оборачиваясь и пристально смотря на потемневшую улицу.

— Да вы зачем в фатеру-то приходили?

— Смотреть.

— Чего там смотреть?

— А вот взять да свести в контору? — ввязался вдруг мещанин и замолчал.

Раскольников через плечо скосил на него глаза, посмотрел внимательно и сказал так же тихо и лениво:

— Пойдем!

— Да и свести! — подхватил ободрившийся мещанин. — Зачем он об том доходил, у него что на уме, а?

— Пьян, не пьян, а бог их знает, — пробормотал работник.

— Да вам чего? — крикнул опять дворник, начинавший серьезно сердиться, — ты чего пристал?

— Струсил в контору-то? — с насмешкой проговорил ему Раскольников.

— Чего струсил? Ты чего пристал?

— Выжига! — крикнула баба.

— Да чего с ним толковать, — крикнул другой дворник, огромный мужик в армяке нараспашку и с ключами за поясом. — Пшол!.. И впрямь выжига... Пшол!

И, схватив за плечо Раскольникова, он бросил его на улицу. Тот кувыркнулся было, но не упал, выправился, молча посмотрел на всех зрителей и пошел далее.

— Чудён человек, — проговорил работник.

— Чудён нынче стал народ, — сказала баба.

— А все бы свести в контору, — прибавил мещанин.

— Нечего связываться, — решил большой дворник. — Как есть выжига! Сам на то лезет, известно, а свяжись, не развяжешься... Знаем!

«Так идти, что ли, или нет», — думал Раскольников, остановясь посреди мостовой на перекрестке и осматривая кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова. Но ничто не отозвалось ниоткуда; все было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал, для него мертво, для него одного... Вдруг, далеко, шагов за двести от него, в конце улицы, в сгущавшейся темноте, различил он толпу, говор, крики... Среди толпы стоял какой-то экипаж... Замелькал среди улицы огонек. «Что такое?» Раскольников поворотил вправо и пошел на толпу. Он точно цеплялся за все и холодно усмехнулся, подумав это, потому что уж наверно решил про контору и твердо знал, что сейчас все кончится.

VII

Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей; седоков не было, и сам кучер, слезши с козел, стоял подле; лошадей держали под уздцы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой, у самых колес. Все говорили, кричали, ахали; кучер казался в недоумении и изредка повторял:

— Экой грех! Господи, грех-то какой!

Раскольников протеснился, по возможности, и увидел, наконец, предмет всей этой суеты и любопытства. На земле лежал только что раздавленный лошадыми человек, без чувств, по-видимому, очень худо одетый, но в «благородном» платье, весь в крови. С лица, с головы текла кровь; лицо было все избито, ободрано, исковеркано. Видно было, что раздавили не на шутку.

— Батюшки! — причитал кучер, — как тут усмотреть! Коли б я гнал али б не кричал ему, а то ехал не поспешно, равномерно. Все видели: люди ложь, и я то ж. Пьяный свечки не поставит — известно!.. Вижу его, улицу переходит, шатается, чуть не валится, — крикнул однажды, да в другой, да в третий, да и придержал лошадей; а он прямехонько им под ноги так и пал! Уж нарочно, что ль, он аль уж очень был нетверез... Лошади-то молодые, пугливые, — дернули, а он вскричал — они пуще... вот и беда.

— Это так как есть! — раздался чей-то свидетельский отзыв в толпе.

— Кричал-то он, это правда, три раз ему прокричал, — отозвался другой голос.

— В аккурат три раза, все слышали! — крикнул третий.

Впрочем, кучер был не очень уныл и испуган. Видно было, что экипаж принадлежал богатому и значительному владельцу, ожидавшему где-нибудь его прибытия; полицейские, уж конечно, немало заботились, как уладить это последнее обстоятельство. Раздавленного предстояло прибрать в часть и в больницу. Никто не знал его имени.

Между тем Раскольников протеснился и нагнулся еще ближе. Вдруг фонарик ярко осветил лицо несчастного; он узнал его.

— Я его знаю, знаю! — закричал он, протискиваясь совсем вперед, — это чиновник, отставной, титулярный советник, Мармеладов! Он здесь живет, подле, в доме Козеля... Доктора поскорее! Я заплачу, вот! — Он вытащил из кармана деньги и показал полицейскому. Он был в удивительном волнении.

Полицейские были довольны, что узнали, кто раздавленный. Раскольников назвал и себя, дал свой адрес и всеми силами, как будто дело шло о родном отце, уговаривал перенести поскорее бесчувственного Мармеладова в его квартиру.

— Вот тут, через три дома, — хлопотал он, — дом Козеля, немца, богатого... Он теперь, верно, пьяный, домой пробирался. Я его знаю... Он пьяница... Там у него семейство, жена, дети, дочь одна есть. Пока еще в больницу тащить, а тут, верно, в доме же доктор есть! Я заплачу, заплачу!.. Все-таки уход будет свой, поможет сейчас, а то он

умрет до больницы-то...

Он даже успел сунуть неприметно в руку; дело, впрочем, было ясное и законное, и, во всяком случае, тут помощь ближе была. Раздавленного подняли и понесли; нашлись помощники. Дом Козеля был шагах в тридцати. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу.

— Сюда, сюда! На лестницу надо вверх головой вносить; оборачивайте... вот так! Я заплачу, я поблагодарю, — бормотал он.

Катерина Ивановна, как и всегда, чуть только выпадала свободная минута, тотчас же принималась ходить взад и вперед по своей маленькой комнате, от окна до печки и обратно, плотно скрестив руки на груди, говоря сама с собой и кашляя. В последнее время она стала все чаще и больше разговаривать с своею старшею девочкой, десятилетней Поленькой, которая хоть и многого еще не понимала, но зато очень хорошо поняла, что нужна матери, и потому всегда следила за ней своими большими умными глазками и всеми силами хитрила, чтобы представиться все понимающею. В этот раз Поленька раздевала маленького брата, которому весь день нездоровилось, чтоб уложить его спать. В ожидании, пока ему переменят рубашку, которую предстояло ночью же вымыть, мальчик сидел на стуле молча, с серьезною миной, прямо и недвижимо, с протянутыми вперед ножками, плотно вместе сжатыми, пяточками к публике, а носками врозь. Он слушал, что говорила мамаша с сестрицей, надув губки, выпучив глазки и не шевелясь, точь-в-точь как обыкновенно должны сидеть все умные мальчики, когда их раздевают, чтоб идти спать. Еще меньше его девочка, в совершенных лохмотьях, стояла у ширм и ждала своей очереди. Дверь на лестницу была отворена, чтобы хоть сколько-нибудь защититься от волн табачного дыма, врывающихся из других комнат и поминутно заставлявших долго и мучительно кашлять бедную чахоточную. Катерина Ивановна как будто еще больше похудела в эту неделю, и красные пятна на щеках ее горели еще ярче, чем прежде.

— Ты не поверишь, ты и вообразить себе не можешь, Поленька, — говорила она, ходя по комнате, — до какой степени мы весело и пышно жили в доме у папеньки и как этот пьяница погубил меня и вас всех погубит! Папаша был [статский полковник](#) и уже почти губернатор; ему только оставался всего один какой-нибудь шаг, так что все к нему ездили и говорили: «Мы вас уж так и считаем, Иван Михайлыч, за нашего губернатора». Когда я... кхе! когда я... кхе-кхе-кхе... о, треклятая жизнь! — вскрикнула она, отхаркивая мокроту и схватившись за грудь, — когда я... ах, когда [на последнем бале... у предводителя...](#) меня увидела княгиня Безземельная, — которая меня потом благословляла, когда я выходила за твоего папашу, Поля, — то тотчас спросила: «Не та ли это милая девица, которая с шалью танцевала при выпуске?»... (Прореху-то зашить надо; вот взяла бы иглу да сейчас бы и заштопала, как я тебя учила, а то завтра... кхе! завтра... кхе-кхе-кхе!.. пуще разорвет! — крикнула она, надрываясь...) Тогда еще из Петербурга только что приехал камер-юнкер князь Щегольской... протанцевал со мной мазурку и на другой же день хотел приехать с предложением; но я сама отблагодарила в лестных выражениях и сказала, что сердце мое принадлежит давно другому. Этот другой был твой отец, Поля; папенька ужасно сердился... А вода готова? Ну, давай рубашечку; а чулочки?.. Лида, — обратилась она к маленькой дочери, — ты уж так, без рубашки, эту ночь поспи; как-нибудь... да чулочки выложи подле... Заодно вымыть... Что этот лохмотник нейдет, пьяница! Рубашку заносил, как обтирку какую-нибудь, изорвал всю... Все бы уж заодно, чтобы сряду двух ночей не мучиться! Господи! Кхе-кхе-кхе-кхе! Опять! Что это? — вскрикнула она, взглянув на толпу в сенях и на людей, протеснявшихся с какою-то ношей в ее комнату. — Что это? Что это несут? Господи!

— Куда ж тут положить? — спрашивал полицейский, осматриваясь кругом, когда уже втащили в комнату окровавленного и бесчувственного Мармеладова.

— На диван! Кладите прямо на диван, вот сюда головой, — показывал Раскольников.

— Раздавили на улице! Пьяного! — крикнул кто-то из сеней.

Катерина Ивановна стояла вся бледная и трудно дышала. Дети перепугались.

Маленькая Лидочка вскрикнула, бросилась к Поленьке, обхватила ее и вся затряслась.

Уложив Мармеладова, Раскольников бросился к Катерине Ивановне.

— Ради бога, успокойтесь, не пугайтесь! — говорил он скороговоркой, — он переходил улицу, его раздавила коляска, не беспокойтесь, он очнется, я велел сюда нести... я у вас был, помните... Он очнется, я заплачú!

— Добился! — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу.

Раскольников скоро заметил, что эта женщина не из тех, которые тотчас же падают в обмороки. Мигом под голову несчастного очутилась подушка — о которой никто еще не подумал; Катерина Ивановна стала раздевать его, осматривать, суежилась и не терялась, забыв о себе самой, закусив свои дрожавшие губы и подавляя крики, готовые вырваться из груди.

Раскольников уговорил меж тем кого-то сбегать за доктором. Доктор, как оказалось, жил через дом.

— Я послал за доктором, — твердил он Катерине Ивановне, — не беспокойтесь, я заплачú. Нет ли воды?.. и дайте салфетку, полотенце, что-нибудь, поскорее; неизвестно еще, как он ранен... Он ранен, а не убит, будьте уверены... Что скажет доктор!

Катерина Ивановна бросилась к окну; там на продавленном стуле, в углу, установлен был большой глиняный таз с водой, приготовленной для ночного мытья детского и мужниного белья. Это ночное мытье производилось самою Катериною Ивановной, собственноручно, по крайней мере два раза в неделю, а иногда и чаще, ибо дошли до того, что переменного белья уже совсем почти не было, и было у каждого члена семейства по одному только экземпляру, а Катерина Ивановна не могла выносить нечистоты и лучше соглашалась мучить себя по ночам и не по силам, когда все спят, чтоб успеть к утру просушить мокрое белье на протянутой веревке и подать чистое, чем видеть грязь в доме. Она схватилась было за таз, чтобы нести его по требованию Раскольникова, но чуть не упала с ношей. Но тот уже успел найти полотенце, намочил его водою и стал обмывать залитое кровью лицо Мармеладова. Катерина Ивановна стояла тут же, с болью переводя дух и держась руками за грудь. Ей самой нужна была помощь. Раскольников начал понимать, что он, может быть, плохо сделал, уговорив перенести сюда раздавленного. Городовой тоже стоял в недоумении.

— Поля! — крикнула Катерина Ивановна, — беги к Соне, скорее. Если не застанешь дома, все равно, скажи, что отца лошади раздавили и чтоб тотчас же шла сюда... как воротится. Скорей, Поля! На, закройся платком!

— Сто есть духу беги! — крикнул вдруг мальчик со стула и, сказав это, погрузился опять в прежнее безмолвное прямое сиденье на стуле, выпуча глазки, пятками вперед и носками врозь.

Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде. Полицейские ушли, кроме одного, который оставался на время и старался выгнать публику, набравшуюся с лестницы, опять обратно на лестницу. Зато из внутренних комнат высыпали чуть не все жильцы г-жи Липпехель и сначала было теснились только в дверях, но потом гурьбой хлынули в самую комнату. Катерина Ивановна пришла в испуг.

— Хоть бы умереть-то дали спокойно! — закричала она на всю толпу, — что за спектакль нашли!.. С папиросами! Кхе-кхе-кхе! В шляпах войдите еще!.. И то в шляпе один... Вон! К мертвому телу хоть уважение имейте!

Кашель задушил ее, но остратка пригодились. Катерины Ивановны, очевидно, даже побаивались; жильцы, один за другим, потеснились обратно к двери с тем странным внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается, даже в самых близких людях, при внезапном несчастии с их ближними, и от которого не избавлен ни один человек, без исключения, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия.

За дверью слышались, впрочем, голоса про больницу и что здесь не след беспокоить напрасно.

— Умирать-то не след! — крикнула Катерина Ивановна и уже бросилась было

растворить дверь, чтобы разразиться на них целым громом, но столкнулась в дверях с самой госпожой Липпехель, которая только что успела прослышать о несчастье и прибежала производить распорядок. Это была чрезвычайно вздорная и беспорядочная немка.

— Ах, бог мой! — всплеснула она руками, — ваш муж пьян лошадь истоптал. В больниц его! Я хозяйка!

— Амалия Людвиговна! Прошу вас вспомнить о том, что вы говорите, — высокомерно начала Катерина Ивановна (с хозяйкой она всегда говорила высокомерным тоном, чтобы та «помнила свое место», и даже теперь не могла отказать себе в этом удовольствии). — Амалия Людвиговна...

— Я вам сказал раз-на-прежде, что вы никогда не смель говорил мне Амаль Людвиговна; я Амаль-Иван!

— Вы не Амаль-Иван, а Амалия Людвиговна, и так как я не принадлежу к вашим подлым лъстецам, как господин Лебезятников, который смеется теперь за дверь (за дверь действительно раздался смех и крик: «сцепились!»), то и буду всегда называть вас Амалией Людвиговной, хотя решительно не могу понять, почему вам это название не нравится. Вы видите сами, что случилось с Семеном Захаровичем; он умирает. Прошу вас сейчас запереть эту дверь и не впускать сюда никого. Дайте хоть умереть спокойно! Иначе, уверяю вас, завтра же поступок ваш будет известен самому генерал-губернатору. Князь знал меня еще в девицах и очень хорошо помнит Семена Захаровича, которому много раз благодетельствовал. Всем известно, что у Семена Захаровича было много друзей и покровителей, которых он сам оставил из благородной гордости, чувствуя несчастную свою слабость, но теперь (она указала на Раскольников) нам помогает один великодушный молодой человек, имеющий средства и связи и которого Семен Захарович знал еще в детстве, и будьте уверены, Амалия Людвиговна...

Все это произнесено было чрезвычайно скороговоркой, чем дальше, тем быстрее, но кашель разом перервал красноречие Катерины Ивановны. В эту минуту умирающий очнулся и простонал, и она побежала к нему. Больной открыл глаза и, еще не узнавая и не понимая, стал вглядываться в стоявшего над ним Раскольникова. Он дышал тяжело, глубоко и редко; на окраинах губ выдавилась кровь; пот выступил на лбу. Не узнав Раскольникова, он беспокойно начал обводить глазами. Катерина Ивановна смотрела на него грустным, но строгим взглядом, а из глаз ее текли слезы.

— Боже мой! У него вся грудь раздавлена! Крови-то, крови! — проговорила она в отчаянии. — Надо снять с него все верхнее платье! Повернись немного, Семен Захарович, если можешь, — крикнула она ему.

Мармеладов узнал ее.

— Священника! — проговорил он хриплым голосом.

Катерина Ивановна отошла к окну, прислонилась лбом к оконной раме и с отчаянием воскликнула:

— О, треклятая жизнь!

— Священника! — проговорил опять умирающий после минутного молчания.

— Пошли-и-и! — крикнула на него Катерина Ивановна; он послушался окрика и замолчал. Робким, тоскливым взглядом отыскивал он ее глазами; она опять воротилась к нему и стала у изголовья. Он несколько успокоился, но ненадолго. Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке (его любимице), дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивленными детски пристальными глазами...

— А... а... — указывал он на нее с беспокойством. Ему что-то хотелось сказать.

— Чего еще? — крикнула Катерина Ивановна.

— Босенькая! Босенькая! — бормотал он, полоумным взглядом указывая на босые ножки девочки.

— Молчи-и-и! — раздражительно крикнула Катерина Ивановна, — сам знаешь, почему босенькая!

— Слава богу, доктор! — крикнул обрадованный Раскольников.

Вошел доктор, аккуратный старичок, немец, озираясь с недоверчивым видом; подошел к больному, взял пульс, внимательно ошупал голову и с помощью Катерины Ивановны отстегнул всю смоченную кровью рубашку и обнажил грудь больного. Вся грудь была исковеркана, измята и истерзана; несколько ребер с правой стороны изломано. С левой стороны, на самом сердце, было зловещее, большое, желтовато-черное пятно, жестокий удар копытом. Доктор нахмурился. Полицейский рассказал ему, что раздавленного захватило в колесо и тащило, вертя, шагов тридцать по мостовой.

— Удивительно, как он еще очнулся, — шепнул потихоньку доктор Раскольникову.

— Что вы скажете? — спросил тот.

— Сейчас умрет.

— Неужели никакой надежды?

— Ни малейшей! При последнем издыхании... К тому же голова очень опасно ранена...

Гм. Пожалуй, можно кровь отворить... но... это будет бесполезно. Через пять или десять минут умрет непременно.

— Так уж отворите лучше кровь!

— Пожалуй... Впрочем, я вас предупреждаю, это будет совершенно бесполезно.

В это время послышались еще шаги, толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник с [запасными дарами](#), седой старичок. За ним ходил полицейский, еще с улицы. Доктор тотчас же уступил ему место и обменялся с ним значительным взглядом.

Раскольников упросил доктора подождать хоть немножко. Тот пожал плечами и остался.

Все отступили. Исповедь длилась очень недолго. Умиравший вряд ли хорошо понимал что-нибудь; произносить же мог только отрывистые, неясные звуки. Катерина Ивановна взяла Лидочку, сняла со стула мальчика и, отойдя в угол к печке, стала на колени, а детей поставила на колени перед собой. Девочка только дрожала; мальчик же, стоя на голых коленочках, размеренно подымал ручонку, крестился полным крестом и кланялся в землю, стучаясь лбом, что, по-видимому, доставляло ему особенное удовольствие. Катерина Ивановна закусывала губы и сдерживала слезы; она тоже молилась, изредка оправляя рубашечку на ребенке и успев набросить на слишком обнаженные плечи девочки косынку, которую достала с комода, не вставая с колен и молясь. Между тем двери из внутренних комнат стали опять отворяться любопытными. В сенях же все плотнее и плотнее стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы, не переступая, впрочем, за порог комнаты. Один только огарок освещал всю сцену.

В эту минуту из сеней, сквозь толпу, быстро протеснилась Поленька, бегавшая за сестрой. Она вошла, едва переводя дух от скорого бега, сняла с себя платок, отыскала глазами мать, подошла к ней и сказала: «Идет! на улице встретила!» Мать пригнула ее на колени и поставила подле себя. Из толпы, неслышно и робко, протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате, среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния. Она была тоже в лохмотьях; наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно выдающейся целью. Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела как потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв о своем перекупленном из четвертых рук шелковом, неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом, и необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об омбрельке⁵, ненужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Из-под этой надетой мальчишески набекрень шляпки выглядывало худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами. Соня была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела на постель, на священника; она тоже задыхалась от скорой ходьбы. Наконец, шушуканье, некоторые слова в толпе, вероятно, до нее долетели. Она потупилась, переступила шаг через порог и стала в комнате, но

опять-таки в самых дверях.

Исповедь и причастие кончились. Катерина Ивановна снова подошла к постели мужа. Священник отступил и, уходя, обратился было сказать два слова в напутствие и утешение Катерине Ивановне.

— А куда я этих-то дену? — резко и раздражительно перебила она, указывая на малюток.

— Бог милостив; надейтесь на помощь Всевышнего, — начал было священник.

— Э-эх! Милостив, да не до нас!

— Это грех, грех, сударыня, — заметил священник, качая головой.

— А это не грех? — крикнула Катерина Ивановна, показывая на умирающего.

— Быть может, те, которые были невольною причиной, согласятся вознаградить вас, хотя бы в потере доходов...

— Не понимаете вы меня! — раздражительно крикнула Катерина Ивановна, махнув рукой. — Да и за что вознаграждать-то? Ведь он сам, пьяный, под лошадей полез! Каких доходов? От него не доходы, а только мука была. Ведь он, пьяница, все пропивал. Нас обкрадывал да в кабаке носил, ихнюю да мою жизнь в кабаке извел! И слава богу, что помирает! Убытку меньше!

— Простить бы надо в предсмертный час, а это грех, сударыня, таковые чувства большой грех!

Катерина Ивановна суетилась около больного, она подавала ему пить, обтирая пот и кровь с головы, оправляла подушки и разговаривала с священником, изредка успевая оборотиться к нему, между делом. Теперь же она вдруг набросилась на него почти в исступлении:

— Эх, батюшка! Слова да слова одни! Простить! Вот он пришел бы сегодня пьяный, как бы не раздавили-то, рубашка-то на нем одна, вся заношенная, да в лохмотьях, так он бы завалился дрыхнуть, а я бы до рассвета в воде полоскалась, обноски бы его да детские мыла, да потом высушила бы за окном, да тут же, как рассветет, и штопать бы села, — вот моя и ночь!.. Так чего уж тут про прощение говорить! И то простила!

Глубокий, страшный кашель прервал ее слова. Она отхаркнулась в платок и сунула его напоказ священнику, с болью придерживая другою рукой грудь. Платок был весь в крови...

Священник поник головой и не сказал ничего.

Мармеладов был в последней агонии; он не отводил своих глаз от лица Катерины Ивановны, склонившейся снова над ним. Ему хотелось что-то ей сказать; он было и начал, с усилием шевеля языком и неясно выговаривая слова, но Катерина Ивановна, понявшая, что он хочет просить у ней прощения, тотчас же повелительно крикнула на него:

— Молчи-и-и! Не надо!.. Знаю, что хочешь сказать!.. — И больной умолк; но в ту же минуту блуждающий взгляд его упал на дверь, и он увидал Соню...

До сих пор он не замечал ее: она стояла в углу и в тени.

— Кто это? Кто это? — проговорил он вдруг хриплым задыхающимся голосом, весь в тревоге, с ужасом указывая глазами на дверь, где стояла дочь, и усиливаясь приподняться.

— Лежи! Лежи-и-и! — крикнула было Катерина Ивановна.

Но он с неестественным усилием успел опереться на руке. Он дико и неподвижно смотрел некоторое время на дочь, как бы не узнавая ее. Да и ни разу еще он не видал ее в таком костюме. Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, расфранченную и стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. Бесконечное страдание изобразилось на лице его.

— Соня! Дочь! Прости! — крикнул он и хотел было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грохнулся с дивана прямо лицом наземь; бросились поднимать его, положили, но он уже отходил. Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у нее в руках.

— Добился своего! — крикнула Катерина Ивановна, увидав труп мужа, — ну, что

теперь делать! Чем я похороню его! А чем их-то, их-то завтра чем накормлю?

Раскольников подошел к Катерине Ивановне.

— Катерина Ивановна, — начал он ей, — на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне всю свою жизнь и все обстоятельства... Будьте уверены, что он говорил об вас с восторженным уважением. С этого вечера, когда я узнал, как он всем вам был предан и как особенно вас, Катерина Ивановна, уважал и любил, несмотря на свою несчастную слабость, с этого вечера мы и стали друзьями... Позвольте же мне теперь... способствовать... к отдаванию долга моему покойному другу. Вот тут... двадцать рублей, кажется, — и если это может послужить вам в помощь, то... я... одним словом, я зайду... Прощайте!

И он быстро вышел из комнаты, поскорей протесняясь через толпу на лестницу; но в толпе вдруг столкнулся с Никодимом Фомичом, узнавшим о несчастье и пожелавшим распорядиться лично. Со времени сцены в конторе они не видались, но Никодим Фомич мигом узнал его.

— А, это вы? — спросил он его.

— Умер, — отвечал Раскольников. — Был доктор, был священник, все в порядке. Не беспокойте очень бедную женщину, она и без того в чахотке. Ободрите ее, если чем можете... Ведь вы добрый человек, я знаю... — прибавил он с усмешкой, смотря ему прямо в глаза.

— А как вы, однако ж, кровью замочились, — заметил Никодим Фомич, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова.

— Да, замочился... я весь в крови! — проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице.

Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке и, не сознавая того, полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. На половине лестницы нагнал его возвращавшийся домой священник; Раскольников молча пропустил его вперед, разменявшись с ним безмолвным поклоном. Но уже сходя последние ступени, он услышал вдруг поспешные шаги за собою. Кто-то догонял его. Это была Поленька: она бежала за ним и звала его: «Послушайте! Послушайте!»

Он обернулся к ней. Та сбегала последнюю лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше его. Тусклый свет проходил со двора. Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело, по-детски, на него смотревшее. Она прибежала с поручением, которое, видимо, ей самой очень нравилось.

— Послушайте, как вас зовут?... а еще: где вы живете? — спросила она торопясь, задыхающимся голосом.

Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть, — он сам не знал почему.

— А кто вас прислал?

— А меня прислала сестрица Соня, — отвечала девочка, еще веселее улыбаясь.

— Я так и знал, что вас прислала сестрица Соня.

— Меня и мамаша тоже прислала. Когда сестрица Соня стала посылать, мамаша тоже подошла и сказала: «Поскорей беги, Поленька!»

— Любите вы сестрицу Соню?

— Я ее больше всех люблю! — с какой-то особенною твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее.

— А меня любить будете?

Вместо ответа он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко, голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче.

— Папочку жалко! — проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками слезы, — все такие теперь несчастья пошли, — прибавила она неожиданно, с тем особенно солидным видом, который усиленно принимают дети, когда захотят вдруг говорить, «как большие».

— А папаша вас любил?

— Он Лидочку больше всех нас любил, — продолжала она очень серьезно и не улыбаясь, уже совершенно как говорят большие, — потому любил, что она маленькая, и оттого еще, что больная, и ей всегда гостинцу носил, а нас он читать учил, а меня грамматике и Закону Божию, — прибавила она с достоинством, — а мамочка ничего не говорила, а только мы знали, что она это любит, и папочка знал, а мамочка меня хочет по-французски учить, потому что мне уже пора получить образование.

— А молиться вы умеете?

— О как же, умеем! Давно уже; я как уж большая, то молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух; сперва «Богородицу» прочитают, а потом еще одну молитву: «Боже, прости и благослови сестрицу Соню», а потом еще: «Боже, прости и благослови нашего другого папашу», потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об этом тоже молимся.

— Полечка, меня зовут Родион; помолитесь когда-нибудь и обо мне: «и раба Родиона» — больше ничего.

— Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться, — горячо проговорила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его.

Раскольников сказал ей свое имя, дал адрес и обещался завтра же непременно зайти. Девочка ушла в совершенном от него восторге. Был час одиннадцатый, когда он вышел на улицу. Через пять минут он стоял на мосту, ровно на том самом месте, с которого давеча бросилась женщина.

«Довольно! — произнес он решительно и торжественно, — прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой! Царство ей небесное и — довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь и... и воли, и силы... и посмотрим теперь! Померяемся теперь! — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. — А ведь я уже соглашался жить на аршине пространства!

...Слаб я очень в эту минуту, но... кажется, вся болезнь прошла. Я и знал, что пройдет, когда вышел давеча. Кстати: дом Починкова, это два шага. Уж непременно к Разумихину, хоть бы и не два шага... пусть выиграет заклад!.. Пусть и он потешится, — ничего, пусть!.. Сила, сила нужна: без силы ничего не возьмешь; а силу надо добывать силой же, вот этого-то они и не знают», — прибавил он гордо и самоуверенно и пошел, едва переводя ноги, с моста. Гордость и самоуверенность нарастали в нем каждую минуту; уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую. Что же, однако, случилось такого особенного, что так перевернуло его? Да он и сам не знал; ему, как хватавшемуся за соломинку, вдруг показалось, что и ему «можно жить, что есть еще жизнь, что не умерла его жизнь вместе с старою старухой». Может быть, он слишком поспешил заключением, но он об этом не думал.

«А раба-то Родиона попросил, однако, помянуть, — мелькнуло вдруг в его голове, — ну да это... на всякий случай!» — прибавил он, и сам тут же засмеялся над своею мальчишескою выходкой.

Он был в превосходнейшем расположении духа. Он легко отыскал Разумихина; в доме Починкова нового жильца уже знали, и дворник тотчас указал ему дорогу. Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный говор большого собрания. Дверь на лестницу была отворена настежь; слышались крики и споры. Комната Разумихина была довольно большая, собрание же было человек в пятнадцать. Раскольников остановился в прихожей. Тут, за перегородкой, две хозяйские служанки хлопотали около двух больших самоваров, около бутылок, тарелок и блюд с пирогом и

закусками, принесенных с хозяйской кухни. Раскольников послал за Разумихиным. Тот прибежал в восторге. С первого взгляда заметно было, что он необыкновенно много выпил, и хотя Разумихин почти никогда не мог напиться допьяна, но на этот раз что-то было заметно.

— Слушай, — поспешил Раскольников, — я пришел только сказать, что ты заклад выиграл и что действительно никто не знает, что с ним может случиться. Войти же я не могу: я так слаб, что сейчас упаду. И потому здравствуй и прощай. А завтра ко мне приходи...

— Знаешь что, провожу я тебя домой! Уж когда ты сам говоришь, что слаб, то...

— А гости? Кто этот курчавый, вот что сейчас сюда заглянул?

— Этот? А черт его знает! Дядин знакомый, должно быть, а может, и сам пришел... С ними я оставлю дядю; это драгоценнейший человек; жаль, что ты не можешь теперь познакомиться. А впрочем, черт с ними со всеми! Им теперь не до меня, да и мне надо освежиться, потому, брат, ты кстати пришел; еще две минуты, и я бы там подрался, ей-богу! Врут такую дичь... Ты представить себе не можешь, до какой степени может изовратиться, наконец, человек! Впрочем, как не представить? Мы-то сами разве не врем? Да и пусть врут: зато потом врать не будут... Посиди минутку, я приведу Зосимова.

Зосимов с какою-то даже жадностью накиннулся на Раскольникова; в нем заметно было какое-то особенное любопытство; скоро лицо его прояснилось.

— Немедленно спать, — решил он, осмотрев, по возможности, пациента, — а на ночь принять бы одну штучку. Примете? Я еще вчера заготовил... порошочек один.

— Хоть два, — отвечал Раскольников.

Порошок был тут же принят.

— Это очень хорошо, что ты сам его поведешь, — заметил Зосимов Разумихину, — что завтра будет, увидим, а сегодня очень даже недурно: значительная перемена с давешнего. Век живи, век учись...

— Знаешь, что мне сейчас Зосимов шепнул, как мы выходили, — брякнул Разумихин, только что они вышли на улицу. — Я, брат, тебе все прямо скажу, потому что они дураки. Зосимов велел мне болтать с тобою дорогой и тебя заставить болтать и потом ему рассказать, потому что у него идея... что ты... сумасшедший или близок к тому. Вообрази ты это себе! Во-первых, ты втрое его умнее, во-вторых, если ты не помешанный, так тебе наплевать на то, что у него такая дичь в голове, а в-третьих, этот кусок мяса, и по специальности своей — хирург, помешался теперь на душевных болезнях, а насчет тебя повернул его окончательно сегодняшней разговор твой с Заметовым.

— Заметов все тебе рассказал?

— Все, и отлично сделал. Я теперь всю подноготную понял, и Заметов понял... Ну да, одним словом, Родя... дело в том... Я теперь пьян капельку... Но это ничего... дело в том, что эта мысль... понимаешь? действительно у них наклевывалась... понимаешь? То есть они никто не смели ее вслух высказывать, потому дичь нелепейшая, и особенно когда этого красильщика взяли, все это лопнуло и погасло навеки. Но зачем же они дураки? Я тогда Заметова немного поколотил, — это между нами, брат; пожалуйста, и намека не подавай, что знаешь; я заметил, что он щекотлив; у Лавизы было — но сегодня, сегодня все стало ясно. Главное, этот Илья Петрович! Он тогда воспользовался твоим обмороком в конторе, да и самому потом стыдно стало; я ведь знаю...

Раскольников жадно слушал. Разумихин спяну пробалтывался.

— Я в обморок оттого тогда упал, что было душно и краской масляною пахло, — сказал Раскольников.

— Еще объясняет! Да и не одна краска: воспаление весь месяц приготавлилось; Зосимов-то налицо! А только как этот мальчишка теперь убит, так ты себе представить не можешь! «Мизинца, говорит, этого человека не стою!» Твоего то есть. У него иногда, брат, добрые чувства. Но урок, урок ему сегодняшней в «Хрустальном дворце», это верх совершенства! Ведь ты его испугал сначала, до судорог довел! Ты ведь почти заставил его

опять убедиться во всей этой безобразной бессмыслице и потом, вдруг, — язык ему выставил: «На, дескать, что, взял!» Совершенство! Раздавлен, уничтожен теперь! Мастер ты, ей-богу, так их и надо. Эх, не было меня там! Ждал он тебя теперь ужасно. Порфирий тоже желает с тобой познакомиться...

— А... уж и этот... А в сумасшедшие-то меня почему записали?

— То есть не в сумасшедшие. Я, брат, кажется, слишком тебе разболтался... Поразило, видишь ли, его давеча то, что тебя один только этот пункт интересует; теперь ясно, почему интересует; зная все обстоятельства... и как это тебя раздражило тогда и вместе с болезнью сплелось... Я, брат, пьян немного, только черт его знает, у него какая-то есть своя идея... Я тебе говорю: на душевных болезнях помешался. А только ты плюнь...

С полминуты оба помолчали.

— Слушай, Разумихин, — заговорил Раскольников, — я тебе хочу сказать прямо: я сейчас у мертвого был, один чиновник умер... я там все мои деньги отдал... и, кроме того, меня целовало сейчас одно существо, которое, если б я и убил кого-нибудь, тоже бы... одним словом, я там видел еще другое одно существо... с огненным пером... а впрочем, я завираюсь; я очень слаб, поддержи меня... сейчас ведь и лестница...

— Что с тобой? Что с тобой? — спрашивал встревоженный Разумихин.

— Голова немного кружится, только не в том дело, а в том, что мне так грустно, так грустно! точно женщине... право! Смотри, это что? Смотри! смотри!

— Что такое?

— Разве не видишь? Свет в моей комнате, видишь? В щель...

Они уже стояли перед последнею лестницей, рядом с хозяйкиною дверью, и действительно заметно было снизу, что в каморке Раскольникова свет.

— Странно! Настасья, может быть, — заметил Разумихин.

— Никогда ее в это время у меня не бывает, да и спит она давно, но... мне все равно! Прощай!

— Что ты? Да я провожу тебя, вместе войдем!

— Знаю, что вместе войдем, но мне хочется здесь пожать тебе руку и здесь с тобой проститься. Ну, давай руку, прощай!

— Что с тобой, Родя?

— Ничего; пойдем; ты будешь свидетелем...

Они стали взбираться на лестницу, а у Разумихина мелькнула мысль, что Зосимов-то, может быть, прав. «Эх! Расстроил я его моей болтовней!» — пробормотал он про себя. Вдруг, подходя к двери, они услышали в комнате голоса.

— Да что тут такое? — вскричал Разумихин.

Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал на пороге как вкопанный.

Мать и сестра его сидели у него на диване и ждали уже полтора часа. Почему же он всего менее их ожидал и всего менее о них думал, несмотря на повторившееся даже сегодня известие, что они выезжают, едут, сейчас прибудут? Все эти полтора часа они наперебой расспрашивали Настасью, стоявшую и теперь перед ними и уже успевшую рассказать им всю подноготную. Они себя не помнили от испуга, когда услышали, что он «сегодня сбежал», больной и, как видно из рассказа, непременно в бреду! «Боже, что с ним!» Обе плакали, обе вынесли крестную муку в эти полтора часа ожидания.

Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе бросились к нему. Но он стоял как мертвый; невыносимое внезапное сознание ударило в него, как громом. Да и руки его не поднимались обнять их: не могли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали его, смеялись, плакали... Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке...

Тревога, крики ужаса, стоны... Разумихин, стоявший на пороге, влетел в комнату, схватил больного в свои мощные руки, и тот мигом очутился на диване.

— Ничего, ничего! — кричал он матери и сестре, — это обморок, это дрянь! Сейчас

только доктор сказал, что ему гораздо лучше, что он совершенно здоров! Воды! Ну, вот уж он и приходит в себя, ну, вот и очнулся!..

И, схватив за руку Дунечку так, что чуть не вывернул ей руки, он пригнул ее посмотреть на то, что «вот уж он и очнулся». И мать и сестра смотрели на Разумихина как на провидение, с умилением и благодарностью; они уже слышали от Настасьи, чем был для их Роды, во все время болезни, этот «расторопный молодой человек», как назвала его, в тот же вечер, в интимном разговоре с Дуней, сама Пульхерия Александровна Раскольникова.

¹ Благодарю (*нем.*).

² приятная, привлекательная (*фр. avenante*).

³ молокососы, желторотые (*фр. blanc-bec*).

⁴ довольно болтать! (*фр.*).

⁵ зонтике (*фр. ombrelle*).